

И. НАКАНИСИ

В стране красной глины

Перевод с японского Н. ФЕЛЬДМАН

Советский читатель знаком уже с творчеством левого японского писателя Иносукэ Наканиси, ряд романов которого был переведен на русский язык («Смерть Кихэя», «Манчжурия» и др.). Ниже мы помещаем в сокращенном виде роман Наканиси «В стране красной глины», напечатанный в Японии в 1921 году. То были годы, когда, под влиянием идей Великой Октябрьской социалистической революции, в Японии, переживавшей тяжелый послевоенный экономический кризис, развилось широкое общественное движение, выдвинувшее ряд революционных лозунгов. Активное участие в этом движении принимала группа передовых писателей, в которую входил и Наканиси. В своих произведениях он выступал против военной клики, против проводившейся ею империалистической политики и разоблачал истинный характер так называемых «самурайских доблестей» и «патриотических подвигов» японской военщины. Наканиси с большим сочувствием относился к тяжкому положению рабочих и крестьян своей родной страны и выражал неоднократно горячие симпатии корейскому народу, страдающему под ягом захватчиков.

Роман Наканиси «В стране красной глины» описывает положение Кореи в годы непосредственно после ее захвата Японией и превращения в колонию. С одной стороны, автор рисует колониальное самоуправство в стране, завоеванной японскими захватчиками, с другой — он убедительно показывает, что политика империалистов, захват колоний ничего не дают и не могут дать японским трудящимся массам.

Сюжет романа — история трех центральных его героев, судьбы которых типичны для общественных групп, к которым они принадлежат. Перед читателем проходят: корейский крестьянин Ким Гиго, у которого японские власти насильно отбирают землю и тем самым средства к существованию, доводя его до тюрьмы. Здесь он встречается с центральным героем романа, Максима Кюкити. Сын бед-

ных крестьян, Максима с большим трудом получает образование. Отказываясь от соблазнительного, легкого пути к довольству и обеспеченной жизни, он начинает борьбу за права народа. Естественно, что в условиях общественной жизни самурайской Японии он видит, а вскоре и испытывает на себе все ужасы классового террора правящих кругов Японии и их заместников в Корее. Наканиси в образе Максима — в котором есть, несомненно, ряд автобиографических черт — показывает сложный противоречивый процесс перехода лучших людей японской интеллигенции на позиции пролетариата.

Интересна судьба героини романа, Токико Ясуда, проданной родителями торговцам живым товаром.

Необходимо иметь в виду, что Наканиси рисует период, отдаленный от наших дней более чем четвертью века. В те дни ни в Японии, ни тем более в Корее не было еще сколько-нибудь значительного рабочего движения. Известно, что только с 1919 г. в Японии зародились первые, еще очень слабые, идейно и организационно, рабочие и крестьянские организации, пытавшиеся бороться с безмерной эксплуатацией предпринимателей и аристократии феодалов-помещиков. Тогдашней слабостью рабочего движения объясняется и относительно умеренная практика классового террора, применявшаяся японскими властями в Корее. Интересны страницы романа, где описаны попытки установления «классового мира» между предпринимателями и безработными. Заслуживают внимания и эпизоды, связанные с деятельностью Максима как журналиста. В те годы японская военщина считала еще нужным маскировать террор классовой юстиции. С ростом революционного движения правящий класс самураев ввел, как известно, закон «об опасных мыслях», на основе которого были физически истреблены все, кого военная клика имела основания считать противниками ее империалистической политики. Арест в начале

1933 г. прервал и общественно-писательскую деятельность Наканиси.

Лучшие страницы романа — это описание корейской тюрьмы. Перед читателем встает картина мучений и издевательств, которым подвергает своих пленников японское так называемое правосудие.

Как сильный и впечатляющий обвинительный акт против японского империализма, как правдивая картина бедственной участи трудящихся масс Японии и Кореи и как свидетельство о нарастающем народном гневе против поработителей, роман Наканиси имеет все права на внимание советского читателя.

ГЛАВА I

1

Кореец Ким Гиго, сутулясь, вышел из дома. Дом был довольно хороший для деревушки, в которой стоял. Над черепичной кровлей свешивались голые ветви ив.

На рябом, скуластом лице Кима уныло торчала жидкая козлиная борода. При взгляде на его обожженное солнцем лицо, на меднокрасную кожу его рук можно было заключить, что этот высокий худой кореец не принадлежит к разряду тунеядцев. Однако его белый хлопчатобумажный халат и штаны не казались очень поношенными.

В Корею — теперь колонии могущественной восточной державы — стояла зима. Над полуостровом свободно разгуливали суровые западные ветры, принося с собой пыль пустынь материка, и люди, так же как столетия назад, укрывались от их буйного дыхания в низеньких, грубо сколоченных жилищах, — почти так, как это было во времена пещерных людей. Дома были густо крыты соломой, стеблями гаоляна. На кровлях, на крышках больших кувшинов с соленьями, стоявших у дверей, пятнами белел снег. Повсюду под навесом крыш висели алые гроздья красного перца и выдолбленные сухие тыквы. Перец запасали, как единственную приправу, на зиму, а тыквы служили сосудами для воды.

Уже справили и «праздник лошадей», и «праздник предков», успели засолить соленья, и все в домах погрузилось в долгую зимнюю спячку. Последние дни стояли редкие для этих мест холода. Существовало поверье, что дух чумы, народившийся в дни «разгара зимы»¹, боится красных бо-

бов и в эти дни его можно изгнать, сварив из красных бобов кашу. И во всех домах варили бобовую кашу, ребяташки в розовых платячках осторожно выливали сок у входной двери, и на глазах у них он примерзал к порогу.

— Холодно, холодно! — кричали дети и бежали греться в ондоль¹.

В доме у Кима Гиго жизнь тянулась безмятежно; целыми днями сидел на теплом полу и курил трубку. Но однажды деревенский старшина передал ему повестку. В ней сообщалось, что областное управление покупает его землю. Для него это было, как вода в уши спящему, и он никак не мог понять смысла слов «на государственные нужды», которые растолковывал ему старшина.

И сейчас Ким Гиго в сотый раз мысленно перебирал все, что говорил ему старшина. Попыхивая трубкой, он шаггал, погруженный в раздумье. Для него дело шло о существовании всей его семьи.

Посеревшая, промерзшая земля затвердела, как камень. Над землей низко простиралось тусклое, такое же серое небо. Было сумрачно. Собирался снег. Дымок, вырывавшийся из губ Кима, таял в серой мгле.

Из-за моря, с востока, наезжало все больше и больше людей, и даже над этой маленькой деревней постепенно нависала какая-то угроза. Удобрение, земледельческие орудия, одежда, водка, табак — все дорожало. Деревенская молодежь кичливо расхаживала в мягких шляпах японского производства², а находились и такие, что с завистью рассказывали о том, как живут пришельцы. Киму казалось, словно это

¹ Помещение или часть помещения с утепленным полом, то-есть с печкой, трубы которой проходят под полом.

² То-есть в шляпах европейского образца; национальный мужской головной убор корейцев — маленькая шляпка с высокой тульей, из прозрачной накрахмаленной материи; ее носят на самой макушке.

чума, поражавшая деревню каждое лето, прокралась к ним снова, только в другом обличье¹. Временами на него нападала такая тоска, точно все кругом уже ушли к этим чужим людям и он один, позабытый, остался в деревне. Но он был насквозь пропитан запахом родной земли, неотделимым от его тела. Свой крошечный клочок он не отдал бы ни за какие блага.

Надо было, наконец, серьезно, решительно подумать... Надвигалось что-то темное, тревожное. Нынче утром, когда он выходил из дому, собака скреблась о пол ондоля, а по корейскому поверью это предвещает несчастье дому.

«Почему же я должен продать, если я не хочу?»

Этого он не мог понять. Раньше существовал произвол янбаней². Но низшие классы объединялись в борьбе против этого произвола. Организовывали союзы, артели, отстаивали свои интересы во всем, что касалось обработки земли, браков, празднеств, учения, сбережений. И вот он, крестьянин-собственник, мирно жил со своей семьей осень, зиму, весну, лето. Он был трудолюбив, как были трудолюбивы многие поколения его предков. Уже тридцать лет он стоял во главе семьи. Он честно трудился в поле, ни о чем не думая, ни за чем не гонясь, и за его век участок его не стал ни меньше, ни больше.

«Почему же я должен продать землю?»

Эта мысль сверлила его неотступно, пока он шел с трубкой в зубах, ступая соломенными сандалиями по мерзлой земле. Он даже не заметил, что трубка у него погасла.

У поворота дороги стоял дом Има Бенсэна. Перед домом лениво жевал губами привязанный к иве большой рыжий вол. У стены валялись земледельческие орудия. «Получил ли и он повестку? — взглянув на дом, подумал Ким. — А если получил, что он думает делать?» И ему захотелось зайти узнать.

— Им Бенсэна дома? — громко крикнул он, остановившись. Никто не ответил. Он подошел ближе и постучал в тяжелую деревянную дверь.

¹ Под чумой подразумевается черная оспа.

² Корейское дворянство. До 1910 г., в силу слабости центральной власти, пользовалось в своих владениях почти бесконтрольными правами.

— И-и-им Бенсэ-э-н! — позвал он еще раз, растягивая, как все корейцы, конец слова. И так как в доме все еще не слышно было ни звука, он опять громко выкрикнул то же имя. Немного погодя послышался стук снимаемой щеколды. Дверь отворилась.

— Кто там? — раздался тонкий голос, и в дверях показалось смуглое лицо, похожее на мордочку хорька, и узелок волос на макушке.

— Им Бенсэна, это я, — сказал Ким, выставив вперед подбородок. — Ну и холод нынче.

Им с сонным видом тер рукой глаза.

— Послушай, тебя не приходили звать к старшине продавать землю? — спросил Ким сразу же, не отходя от двери.

— Коли тебе что нужно — заходи, а то холоду напустишь, дверь раскрыта, — ответил Им.

Придерживая рукой шляпчонку, Ким, тяжело ступая, вошел. В ондоле было тепло от пылавших сосновых игл. Оглянувшись, Ким заметил маленький пузырек с каким-то белым лекарством. Рядом валялся шприц для подкожного впрыскивания. «Пожалуй и Им стал делать себе впрыскивания», — мельком подумал Ким, но ему было не до того. Он даже не вытер свою козлиную бородку, мокрую от таявших в тепле белых сосулек, так не терпелось ему поведать Иму мучившую его тревогу. Им, чувствуя себя расслабленным после нездорового, но глубокого и сладкого сна, опять растянулся на полу.

— Меня старшина давеча совсем огорчил... Слушай, хозяин, ты не знаешь, в чем тут дело? — спросил Ким. Каждый раз, когда он шевелил челюстями, с бородки у него капала вода.

— Гм... — коротко отозвался Им.

— А к тебе еще не приходили? — настойчиво продолжал Ким. Только тогда Им с досадой спросил:

— Да про что ты?

— Говорят, начальство скупает землю! — взволнованно сказал Ким.

— А! Ну, как же, приходил, вчера приходил.

— Ну, и что же, хозяин, что ты ответил? Неужели начальство насильно покупать будет? Я этого никак в толк не возьму! Да еще и цену они же назначают.

— Да и я что-то не пойму...

— А что же ты сказал?

— Сказал, что ладно.

— Ты, что ж, бросишь крестьянство-вать?

— Коли продам землю выгодно — брошу. Попробую, поеду в Пхёнган¹. Теперь дела всюду идут в гору, ты разве не знаешь?

— Откуда мне знать? Я в Пхёнган не хожу, — раздраженно ответил Ким. — Некогда, да и денег нет.

Киму настроение земляка было совершенно непонятно.

— Прошу прощения, Им Бенсэ, я тебе помешал, — сказал он, подымаясь. Им, положив руку под голову, опять было вздремнул. При звуке голоса Кима он вздрогнул, открыл глаза и лениво, даже не пошевелившись, проговорил:

— Ничего, Ким Гиго, погоди...

— Нет, я пойду, — сказал Ким, бросив на него быстрый взгляд. Когда он, выйдя из ондоля, стал надевать сандалии², под окном завозились поросята, видно ожидая, что им дадут корм.

— Ну, а ты что будешь делать с землей? Тоже продашь? — крикнул ему вдогонку полусонный Им.

— Нет, я не продам! — ответил Ким, чувствуя, как его охватывает негодование. Им промолчал.

Ким вышел на улицу и зашагал домой. Скоро он очутился перед своим домом.

Под кровлей, услышав его шаги, завизжали поросята. В ондоле из печки вырывался дым горящих сосновых игл, его ждало тепло. Он распахнул дверь, вошел; у очага все было желто от рассыпанного кругом пшена. Бентамские курочки с яркочерными гребешками весело клевали зерно.

— Кш, кш! — замахал на них руками Ким. — Кто это натворил? — крикнул он, обернувшись к темному ондолю. — Цой-соса! Цой-соса! Ты здесь?

Цой-соса звали его жену. Она спала в углу ондоля. Куры, испуганные его криком, разбежались, хлопая крыльями. Но жена не пошевелилась. Ким, рассердившись, крикнул:

— Дармоедка! И зачем ты только живешь, чорт! Вставай!

Его слабоумная жена целыми днями лежала. Болезнь ее началась с родильной горячки после рождения сына, и хоть Ким по-своему жалел ее,

¹ Пхёнган, или, по японскому, общепринятому теперь названию, Хэйдзэ — главный город провинции (области) того же названия.

² В Корее, как и в Японии, обувь при входе в комнаты снимается.

она за последние годы стала для него невыносимой обузой. В дом мог войти кто угодно, могли забраться воры, она спала и ничего не замечала. Он один, кряхтя, тащил на себе всю тяжесть этого дома, и вот теперь все зашаталось. Видно, дому его приходит конец.

2

Главная канцелярия областного управления Хэйдзэ уже несколько недель была занята скупкой земель у корейских крестьян. В Корее проверка землеустройства с давних пор почти что не производилась, да, пожалуй, и не могла производиться. Поземельный кадастр, составлявшийся чиновниками и служащими старого правительства на основе взяток и явочного права, оказался в совершенно запутанном состоянии. Когда власть перешла к японскому генерал-губернатору, проверка землеустройства явилась первоочередной задачей. Однако это мероприятие, на которое затрачивались огромные средства, не проходило так гладко, как ожидалось. То же было и со скупкой земель. На один и тот же участок оказывалось по две-три претендента, и один утверждал, что за ним до сих пор сохраняются права собственности на землю, которую уже много лет назад купил у него другой. Японские и корейские чиновники усердно трудились в своей обширной конторе, пытались привести в порядок толстые папки дел.

Областное управление Хэйдзэ помещалось на склоне горы, фасадом к реке Дэдоган. Красноватое здание европейского типа величественно возвышалось среди разбросанных вокруг низеньких, крытых соломой корейских домишек. Вдалеке виднелся шпиль христианской церкви. В большом саду, обнесенном железной решеткой, росли тополя и акации, и все лето, до самой осени, пышно цвели красные и золотисто-желтые хризантемы. В углу сада была довольно просторная теннисная площадка. Когда на горе стаивал снег и на ветках распускались первые почки, молодые служащие в новеньких белых рубашках, нежась в лучах весеннего солнца, весело орудовали ракетками, а корейские ребяташки в красных платяницах сбегались со всех сторон и с любопытством и восхищением глазели на странную игру людей из культурной страны.

В один из первых февральских дней

Ким Гиго шел по улицам старого Хэйдзё в областное управление. Он шел сутулясь, наклонившись вперед. Когда ставал снег, на улицах старого Хэйдзё открывался корейский базар, и, пользуясь досугом перед началом полевых работ, повсюду толпились окрестные лавочники и крестьяне в белых халатах. Но до весны было еще далеко. Над головой низко нависало пасмурное небо, холодный ветер хлестал в лицо.

Стояло самое веселое для корейцев новогоднее время. На всех дверях наклеены были картинки, изображавшие воина в золотом шлеме или демона, ловящего чертенят. У набеленных, хорошеньких киисан¹ щеки рдели от ароматного сакэ. Кое-где виднелись бродячие слепые музыканты, бившие в барабаны, и мальчики, примостившись у ворот, делали длинные факелы для предстоящей вечером «встречи луны». Звонко перекликаясь, они связывали в пучки сухие ветви ив или стебли гаюляна. Когда на прибрежные холмы спускались сумерки, мальчики с факелами в руках взбегали на холмы встречать луну; считалось, что кто видел первую луну, тот в наступающем году удостоится милости богов счастья. Если он чиновник, то получит повышение. Если крестьянин — снимет богатый урожай. Если холостяк — возьмет красавицу-жену. Если студент — преуспеет в науках. Окружив счастливых, завидуя их удаче, все спускались с холмов.

Ким Гиго шел молча. Он шел молча, медленно, точно таща на ногах толстые цепи. Повестку из управления он получил вскоре после того, как в доме у старшины отказался поставить печать². Когда в начале февраля старшина вручил ему повестку с приказом явиться в управление, имея при себе личную печать, ему показалось, будто чья-то сильная рука схватила его за горло. А старшина особо значительно прочел ему примечание, гласившее, что в случае неявки его ждет суровая кара.

В этот день у него дома довольно уныло справили Новый год. Жена все же встала рано утром, напекла лепешек, сварила курицу с овощами. Он выпил водки, поел курятины. Положил

у двери кисть, тушь, бумагу, для того чтобы приходившие с поздравлениями могли записать свои имена. И вышел из дому так, словно его вытолкали насильно. Вышел из дому, чувствуя, что ноги его идут совсем не туда, куда направлены его мысли. Грустно ему было, когда он вспоминал, как радостно проходил Новый год раньше. К тому же пять ри¹ — это был долгий путь.

Наконец, он вышел к берегу реки. Река, покрытая льдом, засыпанная снегом, белела, как протянувшийся по земле Млечный путь. Через реку медленно переправлялась фура, запряженная большим рыжим волком. Женщина в белом платье, с кувшином на голове шла по льду. Вдоль обоих берегов тянулись широкие проруби, и у самой воды женщины колотили вальком по белю. Стук вальков напоминал треск поджариваемого гороха. На противоположном берегу, недалеко от развалин древнего замка, высились массивные ворота с крышей, похожей на феникса с распростертыми крыльями; на крыльях искрился снег. Взгляд приковывали блестящие карминовые и пурпуровые стволы криптомерий. Это были знаменитые ворота Морандэ — чистейший образец старой корейской архитектуры. Ким миновал ворота и вступил на улицы старого города. При старом правительстве на этих улицах жили главным образом богатые купцы и аристократы. Однако с тех пор как Корея превратилась в колонию, прежние обитатели этих улиц куда-то исчезли. Некоторые, распустив своих многочисленных прихлебателей и наложниц, скрылись в деревне. Более ловкие сделались чиновниками колониальных учреждений.

Ким Гиго шел и удивлялся, как все меняется на свете. Даже в этом городе, лежащем сравнительно близко от его деревни, он за всю свою жизнь почти не бывал. Он с любопытством осматривался по сторонам. Проходившие мимо корейцы вызывали в нем раздражение. По случаю Нового года большинство из них было в праздничной одежде. Приятно было посмотреть на светлокоричневые или бледно-зеленые дюи². Но стоило ему взглянуть им на голову или на ноги, как все удовольствие пропадало: у молодых, а иногда и у пожилых корейцев на голо-

¹ То же, что в Японии гейша.

² Как в Японии, так и в Корее широко распространены личные печати, заменяющие подпись.

¹ Ри — около четырех километров.

² Шелковое платье.

ве были такие же, как у японцев, мягкие шляпы или котелки, а на ногах черные кожаные ботинки.

Он дошел до широкой, как река, улицы. Окинув ее взглядом, он замер, как околдованный. «Айго!» — проормотал он почти со страхом. Круглый год он видел перед собой только красные глинистые холмы да крытые соломой домики, похожие на земляные лепешки, и железобетонные огромные здания, нарядные, выкрашенные в зеленое, дома со стеклянными дверями наводили ужас. Такие великолепные дома мог построить только Сэндио¹. Посреди улицы тянулись две длинные полосы рельсов, и по ним двигались трамвайные вагоны. О трамвае он знал понаслышке, однако теперь, увидев его воочию, он просто остолбенел перед этой явью, похожей на чудо.

3

Прямо перед Кимом Гиго высилось трехэтажное европейское здание областного управления. Он замер на месте, точно остолбенев. Ему казалось невероятным, чтобы люди из такого внушительного здания обратились за чем-либо к такому жалкому существу, как он. Он вынул из-за пазухи повестку. Нет, — на ней ясно и четко значилось его имя. Ким робко, как обвиняемый, подошел к воротам. Он увидел, что туда же, разговаривая, входит еще несколько корейцев.

— Позвольте спросить: тут областное управление? — спросил он.

— Да. А что, тебя тоже вызвали сюда?

— Да, я пришел по повестке... — ответил Ким. — Раз начальство приказало, пришлось итти, хоть и далеко, — добавил он, выдавая свою тревогу и недовольство.

Ким вошел во двор. Там, поеживаясь от холода, уже ждало много народу. Одни толпились по углам большого двора, другие сидели на корточках, с длинными трубками в зубах.

Расспросив несколько человек, Ким, наконец, вручил свою повестку. Он устал. Он вышел из дому в семь утра и прошел почти пять ри, а сейчас было уже за полдень. Ким и устал, и проголодался. Ему хотелось где-нибудь присесть и закусить. Но сесть было негде. Тогда он, не найдя другого места, опустился прямо на камни, ко-

торыми был вымощен двор. Сидеть на камнях было холодно. Достал застывшую кашу и принялся есть. Холод пронизал его насквозь, прохватива дрожь. Все же это было лучше, чем голод.

Когда смерклось настолько, что уже почти нельзя было разглядеть лиц, выкликнули, наконец, его имя. Хотя Ким приготовился, все же сердце у него екнуло. «Ну, вот и мой черед!» — подумал он и тревожно поднял голову.

— Ты Ким Гиго? — глядя на него, спросил чиновник, вышедший с повесткой. В сумерках лицо чиновника показалось Киму бесовской мордой. Он вздрогнул. Молча кивнул головой.

Следуя за чиновником, он поднялся во второй этаж. Сердце у него сильно билось. Он робко шел по высокому просторному коридору. На второй этаж он поднимался первый раз в жизни. Он осторожно посмотрел вниз, в пролет лестницы; в глазах у него потемнело, и он испуганно отвернулся. По одну сторону коридора шел ряд комнат, и в каждой сидели чиновники и что-то делали. В одной комнате дверь стояла настежь раскрытой; его лица коснулся теплый воздух натопленного помещения.

— Входи! — сказал сопровождавший его чиновник, когда он перешагнул порог. Он осторожно остановился перед дверью. Он робко вошел. Глядя себе под ноги, так как было полутемно, он осторожно ступил два-три шага за чиновником и вдруг, невольно вскрикнув «айго!», поднял голову: в один миг в большой комнате загорелись все электрические лампы, и на потолке и на столах, Ким осматривался кругом, точно пробудившись от крепкого сна. Первый раз в жизни он видел электрический свет. Изумленный, он пристально смотрел на раскаленные угольные нити, в глазах у него потемнело, на сетчатке загорелись лиловые круги, и куда он ни переводил взгляд, круги следовали за ним. Он часто заморгал. Только после этого он, наконец, посмотрел прямо перед собой.

За большим столом, небрежно развалившись в кресле, сидел чиновник с двумя золотыми нашивками на рукаве мундира. При свете электричества нашивки угрожающе сверкали. Это был начальник канцелярии Охара. По бокам стояли переводчик и секретарь в полной форме. Ким почувствовал, что вся его былая решимость уже пошла

¹ Бог жилища у корейцев.

прахом. Когда начальник канцелярии поднял на него взгляд, он невольно опустил голову. Все его подавшееся вперед тело как будто одеревянело.

Начальник смотрел на него снисходительным взглядом. Продолжавшаяся уже несколько недель операция по скупке земель не только интересовала его сама по себе, но рассматривалась им как удобный случай для пропаганды «новым подданным» своих идей. Он через переводчика безустали разъяснял им природу японского государства, принципы колониальной политики, долг подданных, в частности, долг «новых подданных». Неизвестно, понимали ли корейцы-переводчики лекции начальника, но, как бы то ни было, они тяжеловесными фразами излагали их крестьянам. Те при каждой паузе кивали, говорили «нэ, нэ»¹ и все время оторопело смотрели прямо в лицо старавшемуся переводчику. А когда наступала пора приложить в знак согласия печать, они, точно сговорившись, начинали свои жалобы сначала. У начальника опускались руки. Тогда молодой переводчик, потеряв терпение, не ожидая слов начальника, кричал:

— Дурачье! Не понимаете, что вы в казенном месте! Нечего ныть, живо ставьте печать!

Некоторые, испугавшись угрозы, нехотя вынимали и ставили свою печать. Хуже всего было с женщинами. Одни из них пронзительно кричали, другие, ни на что не глядя, плакали: «айго, айго». Однако, когда их заставляли являться по два-три дня подряд, и женщины тоже в конце концов выбивались из сил и сдавались.

Сюда привели и Кима Гиго. Начальник канцелярии Охара, как обычно, начал с общих объяснений и затем велел Киму сейчас же дать согласие на продажу. Переводчик положил перед ним бланк с текстом соглашения. Но Ким пристально смотрел на него и упорно молчал.

— Ты понял, что тебе сказал господин начальник? Тогда приложи сюда печать. Нечего раздумывать! — сказал переводчик. Но Ким молчал. У него вдруг задрожали губы, по ногам пополз холодный пот.

— Ставь скорей печать, чего ты раздумываешь? — раздраженно повторил переводчик. Тогда Ким Гиго, собрав

всю свою решимость, наконец проговорил:

— Я землю не могу продать.

Он сильно побледнел. Губы у него судорожно тряслись... Но Охара, словно готовый к такому ответу, только сухо улыбнулся.

— Речь идет не о простой продаже. Речь идет о том, чтобы удовлетворить государственные нужды. Первый раз вас, новых подданных, призывают исполнить свой долг перед властями. Разве может представиться вам лучший случай? Памятуя о высшей славе, вы должны почтительно откликнуться на призыв императора.

Охара говорил торжественным, но не лишенным мягкости тоном. Ким пристально смотрел в пол.

— Ну, как, понял? — начальственно спросил Охара, закончив свою речь. Но Ким попрежнему молчал.

— Как, ты все еще не понимаешь, когда сам начальник тебе объяснил? — раздраженно крикнул переводчик.

— Коли мы выполним этот долг, нам не на что будет жить, — проговорил Ким, в котором резкий тон переводчика вызвал ответное негодование. Он метнул на переводчика сердитый взгляд. Переводчик несколько смущенно отвернулся. Однако к своему неожиданно энергичному ответу Ким уже ничего не мог больше прибавить. Переводчику волей-неволей пришлось перевести ответ начальнику.

— Не на что жить? Но ведь поскольку речь идет о государственных нуждах, это вовсе не значит, что у тебя берут землю бесплатно. Власти милостиво отпустили средства. Назначена твердая цена за цубо¹, и по этой цене каждому будет уплачено. Так разве ты не можешь прекрасно прожить на эти деньги? Можешь открыть торговлю, копить деньги — словом, можешь жить, как хочешь. Власти никогда не сделают так, чтоб тебе жилось худо, — сказал начальник, старательно разжевывая свою мысль. Но напряженное выражение лица Кима не смягчилось.

— Хоть бы и с деньгами, мне все равно не прожить.

— Значит ты настаиваешь на том, что никак не можешь продать землю? — резко сказал Охара, великодушие которого все же имело предел. Ким побледнел и молча кивнул.

— Окончательно?

¹ Восклицание типа «вот как», «да»...

¹ Земельная мера — 3,3 кв. м.

На этот раз вопрос прозвучал еще резче. Ким чувствовал, что его прижали к стене. Лицо у него запылало. И все же он опять кивнул.

— Сколько бы вы ни упрямылись, все равно не поможет! — сказал Охара, несколько понизив голос. При этих словах сердце у Кима опять сильно забилось. «А, все напрасно!» — подумал он с отчаянием. Ему казалось, точно его сразмаху ударили по голове. Он хотел что-то сказать, но во рту у него пересохло. Горло сдавило, слова не шли с языка. Он топтался на месте, стараясь устоять на дрожащих ногах.

— Отпустить его! — приказал начальник переводчику.

Сгорбившись, понурив голову, робко переступая ногами, Ким скрылся за дверью.

ГЛАВА II

1

Макисима Кюкити четырнадцатилетним подростком поступил на работу на пороховой завод, недалеко от родной деревни. Это было его первым приобщением к миру рабов заработной платы. Потом он служил уборщиком на паровозе и, когда засыпал в ночную смену, получал пинки ногой. Когда он поступил на электрическую станцию, несчастный случай так испугал его, что он сбежал. Во время японо-русской войны он под пулями таскал уголь на ремонтном заводе военно-морской базы одного из далеких островов Японского моря.

Макисима был мечтателем. За время сносно оплачивавшейся работы в районном театре военных действий он сколотил кое-какие сбережения и девятнадцати лет уехал в Токио. Там он поступил в учебное заведение, где учились сынки преуспевающих дельцов. Каких только занятий, хоть как-нибудь совместимых с учением, не перепробовал он за эти годы! Был рикшей, был газетчиком, был уличным продавцом горячих макарон. Разносчики газет для поступления на работу должны были приобрести пай. Макисима купил пай за пять иен. После двухнедельной работы его выставили, заявив: «Ты слишком мало продаешь», и не заплатив заработанных денег. Таким образом, он потерял пять иен и проработал бесплатно две недели. В тот вечер, когда он получил расчет, он стоял на мосту Киобаси и плакал — много лет спустя он не мог без слез проходить

мимо здания редакции этой газеты и моста Киобаси, — плакал, думая о своей участи, о том, что не получить ему образования, плакал тяжелыми, безутешными слезами замученного бессильного существа.

— Поступайте в школу офицеров армии спасения. Нет лучше жребия на земле, — сказал ему однажды офицер армии спасения и, заметив у него на столе брошюры в красной обложке, издававшиеся известным левым обществом, добавил: — А от таких штук проку не будет. — Но Макисима уже был страстным приверженцем красных обложек...

В эту пору его призвали рядовым на военную службу. Даже ему, закаленному суровой трудовой жизнью, пребывание в армии показалось тяжелым. Тут, в солдатских казармах, он получил свое первое тюремное крещение. Именно с этих пор он перестал бояться тюрьмы...

К тому времени, как он вернулся с военной службы в деревню, его семья лишилась последнего клочка земли. Их участок стал понемногу переходить в руки помещика еще когда он учился в начальной школе. Дома, все на том же месте, неподвижный, как сухое дерево, сидел дед. Жить было решительно не на что. Хотя бы для того, чтобы прокормить деда, надо было отправляться куда-то на заработки. Макисима решил поехать в Корею, где со вторым мужем жила его мать. Вечером, накануне отъезда, несчастный старик и его внук при тусклом свете лампы с тяжелым сердцем сели за последний ужин. Это было прощанье на вечную разлуку.

Рано утром он сел в поезд. По темной деревенской дороге до станции его провожал дед в низко нахлобученном на голову капюшоне, с плетеной корзинкой на плечах, и два приятеля детства, учительствовавшие в начальной школе. Грустно прозвучал паровозный свисток. Все трое печально улыбнулись...

Когда поезд помчался берегом реки, между двумя рядами стройных сосен, Макисима оставил думы о прошлом и весь отдался ощущениям путешествия. Под легкое покачивание поезда он стал представлять себе ожидающий его новый мир. «Колония! Какое заманчивое слово! Колония, где сброшены все путы, где можно шагать широко и смотреть на мир ясными глазами. Новый солнечный свет, новый запах

земли, пение незнакомых птиц...» Сердце в нем замирало. «Колония, где, вырвавшись из-под ненавистного гнета условной морали, тягостного чувства классового неравенства, деспотизма религиозных предрассудков, оживают настоящие, свежие человеческие желания...» Под стук колес хорошо мечталось. За окном лиловели горы, — на склоне горы стояли красные тории, цвели сливы.

2

К вечеру второго дня после отъезда из Токио поезд прибыл в Симоносэки. Отсюда шел пароход в Корею. В порту уже всюду горели огни. Пароходы у мола и на рейде как будто перекликались гудками, навевая грусть на отъезжающих. От пристани по обе стороны улицы тянулись гостиницы; на сидзи¹ отражались движущиеся силуэты постояльцев. Охваченный грустью первого расставания с родиной, Максима пошел побродить по улицам порта. Миновав гостиницы, он вышел на главную улицу и скоро добрался до берега.

Дойдя до пристани, он направился в зал третьего класса. До отхода оставалось около часа. Ожидających было так много, что он с трудом нашел себе место. Все это были рабочие, крестьяне, мелкие служащие, которых послевоенный кризис погнал со всех концов Японии за заработком на «новую территорию» — в Корею. На скамьях тесными рядами сидели парни, у которых вокруг головы повязаны были новые полотенца, пожилые мужчины, завернувшиеся с головой в теплые красные шерстяные одеяла, молодые женщины в модных платьях на ватной подкладке.

Свертывание работ, понижение заработной платы, растущая безработица, падение цен наряду с сокращением покупательной способности, застой в сельском хозяйстве — все это повергло и город и деревню в нищету. Тяжко вздыхая, люди устремляли взоры в сторону открывшейся для них новой земли — земли, купленной ценою крови их собственных сыновей, братьев, мужей, отцов. Вот страна, которая зеленеет только ради них. Тучные нивы ждут, чтобы они их возделали. Ключи

¹ Наружная раздвижная стена, представляет собой раму, затянутую плотной, пропускающей свет бумагой.

от богатых сокровищниц у них в руках. Крестьяне, рабочие, служащие, торговцы, мужчины и женщины, старые и молодые — все на новую территорию! В колонию! И вот, распродав свое жалкое имущество и землю и истратив все вырученное на дорогу, они лавиной устремлялись на полуостров. И Максима, едва успев сбросить военную форму, очутился среди них.

Пассажиров перевозили на пароход на баркасе. Максима со своей корзиной в руках шел вместе с другими. Он стоял на носу, вдыхая соленый запах моря. Этот родной его сердцу запах будил в нем воспоминания. Когда баркас подошел ближе к пароходу и Максима увидел вдоль борта освещенные иллюминаторы, его охватила радость, точно он обрел место мирного отдыха. Плеск волн, бьющих о борта, манил в путь, от невыносимого гнета родины — туда, в далекую свободную страну, где текут медовые реки...

Когда он спустился в трюм, где помещались каюты третьего класса, хорошие места все уже оказались заняты, и ему волей-неволей пришлось забраться на верхнюю полку. Там ему предстояло провести ночь. Так как он знаком был с верхней полкой уже с тринадцати-четырнадцати лет, для него это было делом привычным. Он лег навзничь, сунув себе под голову пачку журналов. Прямо над самым его носом нависал белый крашенный дощатый потолок. «Лежишь, точно живой багаж», — подумал он. Рядом, внизу, со всех сторон лежал такой же живой багаж. После двухдневной тряски в вагоне Максима с удовольствием растянулся на койке, и даже доносившийся снизу стук машин действовал на него как-то умиротворяюще. Пароход, прорезав стремительное течение залива, видимо вышел в бурные волны Японского моря. Когда Максима служил боем на крейсере, ему пришлось плавать в этих местах, недалеко от Кореи. Как раз тогда, в свой первый рейс, он получил от молодого механика первую пощечину — впервые узнал на горьком опыте, что значит быть побитым. С этим воспоминанием он незаметно погрузился в сон.

Он проснулся вдруг, с замиранием сердца, точно летел с горы в пропасть. Волны с шумом бились о борт. В каюте слышались стоны. Пароход сильно качало, и при каждом покачивании у Максима кружилась голова, хотя,

крепкий здоровьем, он никогда не страдал морской болезнью. Он услышал, как спустившийся с палубы пассажир произнес:

— Уже видны огни Цусимы...

Огни Цусимы... Максима вспомнил свою работу на военно-ремонтном заводе. Он вышел на палубу. Сильный ветер свистел в мачтах, брызги ливнем обрушивались на палубу с обоих бортов. По всему пароходу, в особенности в третьем классе, измученные морской болезнью пассажиры стонали и корчились. Но Максима стоял на палубе спокойно и только когда промерз, решил спуститься в каюту. В эту минуту при слабом свете бортового фонаря он заметил, что на свернутом в кольцо канате кто-то лежит. Полагая, что это пассажир, страдающий морской болезнью, Максима не обратил на него внимания и хотел, не останавливаясь, спуститься. Но жалобные стоны лежащего испугали его, он замедлил шаг и, наконец, подошел поближе. Это оказалась женщина. Очевидно почувствовав, что кто-то подошел, она повернула голову и испуганно вскочила. Похоже было, что она заподозрила подошедшего в нехороших намерениях. Максима тоже почувствовал себя неловко и остановился. Желая рассеять подозрение, он спросил:

— Что с вами? Вам, кажется, очень нехорошо...

— Нет, ничего... спасибо.

Максима удивили ее усилия, то ли из чувства самозащиты, то ли из кокетства, скрыть свои страдания. От морской болезни лицо ее казалось мертвенно бледным. Все же это было милостивое личико, с пухлыми щечками и большими глазами. На лоб спускалась челка.

— Тем лучше... — сказал Максима и направился к трюму.

— Извините, который теперь час? — донесся вслед ее голос.

— У меня нет часов... я думаю, часа три, — отозвался Максима.

— А когда же мы будем в Фузане?

— Кажется, в восемь утра...

— Ох, как долго! — с отчаянием пробормотала она.

Максима пошел вниз. Девушка спустилась за ним. Вернувшись на свое место, он достал спички и закурил. Девушка тоже ехала в третьем классе; она присоединилась к группе женщин, видимо своих попутниц, которые лежали на койках против него. Она принялась расчесывать гребнем

волосы. Максима еще раз внимательно рассмотрел ее. У ней было милое белое личико, она показалась ему моложе, чем на палубе, совсем еще юной.

3

На рыжеватых горах еще лежал снег. По склонам лепились низенькие корейские домишки, а на этом фоне рисовались контуры зданий в стиле модерн и ренессанс — типичный облик европеизированного колониального города. Пароход подходил к порту Фузан, расположенному на выступающем углу Корейского полуострова. Максима стоял на палубе. В прозрачном утреннем воздухе на молу четко выделялись белые фигуры корейцев, похожие на белых цапель. Когда пароход пришвартовался к пристани, из чрева его, точно муравьи, посыпались пассажиры.

Максима сел в поезд, идущий в Хэйдэе, в вагон третьего класса. Пустынный ландшафт, мелькавший за окнами, радовал его впервые испытываемым ощущением атмосферы чужой страны.

— Ах, и вы тоже здесь?.. — вдруг обратилась к нему проходившая мимо женщина. Он изумленно оглянулся, это была та самая девушка, с которой он встретился на пароходе. Но он не сразу узнал ее, так она на этот раз принарядилась. Челка блестела, сквозь тонкую кожу слегка набеленных щек пробивался нежный, теплый румянец. Все существо ее дышало юной прелестью. Повидимому, она только что окончила — а может быть, даже еще и не окончила — школу.

Максима оживленно ответил:

— А! Ну, как, в поезде вам лучше?

— Да, в поезде ничего... Я рада, что мы встретились.

Глаза у нее блестели. Она сидела раньше вместе со своими попутницами, но теперь пересела на свободное место напротив него и стала смотреть в окно. Попутниц было пять. Группу возглавляла плотная женщина лет сорока пяти. Остальные были девушки лет по семнадцати, они смеялись и болтали, чистя мандарины и грызя китайские орехи. Но девушка, заговорившая с ним, старалась держаться от них в стороне. По костюму она тоже от них отличалась. Даже Максима, при всей своей неопытности, заметил,

что она больше похожа на горожанку. «Странная компания», — подумал он.

— Вы едете из Токио? — улыбаясь заговорил он.

— Нет, не из Токио. Из Иокогамы, — тихо ответила девушка.

— А ваши спутницы тоже оттуда?

— Нет, они с Кюсю.

— С Кюсю? Каким же образом вы оказались вместе?

— Я с хозяйкой, мы приехали из Иокогамы, а они съехались в Симоносэки, — ответила она, указав тонким пальчиком на пожилую женщину.

— А хозяйка из Иокогамы?

— Право, хорошенько не знаю... но кажется нет, она тоже с Кюсю.

— Значит, она приезжала в Иокогаму за вами?

— Да...

Хотя девушка отвечала на все его вопросы, Максима все же не мог уяснить себе, что представляет собой эта группа.

— Вы едете в экскурсию?

Девушка не ответила.

— В экскурсию, — на пять-шесть лет в экскурсию по Корее, — шутливым тоном вмешалась хозяйка, как раз проходившая мимо.

— А сейчас вы куда едете? — обратился к девушке Максима.

— В А.

— Далеко! От Хэйдзё еще целые сутки.

— Да... кажется.

Максима помолчал. — Вы, значит, пробудете там пять-шесть лет?

— Я еще не знаю.

— Не знаете? Как так? — спросил он тоном упрёка.

— Я ни о чем как следует дома не расспросила, — ответила девушка с легкой досадой.

— Значит, когда вы поехали в Корею, вы даже не спросили зачем?

— Отец мне сказал — поезжай, да и дома все говорили, надо ехать, я и поехала, — сказала она, как будто оправдываясь.

— Отец просто велел вам поехать?.. А чем ваш отец занимается? У него есть какое-нибудь дело?

— Нет, теперь никакого. Он свое дело бросил.

— А какое же дело у него было?

Она промолчала.

— Почему же он его бросил?

Чем непонятней казалась ему девушка, тем больше ему хотелось ее расспрашивать.

— Видите ли... Оказались большие убытки...

Больше она, чисто по-женски, ничего не могла сказать.

— То есть как — убытки? — спросил было Максима, но сейчас же сообразил, что о таких вещах спрашивать девушку бесполезно. «Как может она это знать, если не знает даже, зачем она сюда приехала!» — подумал он, молча глядя ей в лицо.

— Когда война кончилась, никто не хотел покупать товаров в лавке... и у отца получились убытки, — вдруг пояснила она вполне толково. Максима начинал понемногу догадываться об истине. «Бедная девушка!» — подумал он.

Девушка рассказала, что она три года училась в школе в Иокогаме. Максима было приятно, что он оказался рядом с такой милой спутницей.

В пять часов поезд подходил к Хэйдзё.

— Напишите мне! — сказала девушка, видимо опечаленная расставаньем. Максима тоже стало грустно. Он написал на обороте визитной карточки свой адрес и дал ей, а ее имя и адрес записал в свою записную книжку. Из окна поезда вдруг открылся вид на широкую, покрытую льдом реку. Девушка изумленно смотрела в окно.

— Как здесь холодно! — сказала она, вздрогнув. Это была река Дэдган, на которой стоит Хэйдзё.

Поезд остановился у вокзала, одиноко стоящего среди поля.

— Ну, до свиданья!

— До свиданья! Берегите здоровье.

Обменявшись последними приветствиями, — девушка из окна поезда, он с перрона, — они расстались. Раздался свисток паровоза...

4

— Ах, как я тебя ждала! Наконец-то ты приехал! Здоров? Ну, вот и хорошо! — радостно говорила мать, встретившая Максима на перроне. Мальчик из лавки взял у него корзинку. Максима смотрел на мать, почти не узнавая ее после восьми лет разлуки, так она поседела и постарела.

— Я получила твою телеграмму о приезде еще три дня назад. Сколько я эти дни хлопотала! Все тебе готовила! Хорошо, что ты приехал, — говорила мать, глядя снизу вверх на своего выросшего сына. Ей казалось, точно возшло долгожданное солнце.

— Холодно тут у вас... Ты здорова?

— Спасибо, здорова. Только надо беречься, здесь болеть опасно. Ты, смотри, будь осторожен, — заботливо говорила мать. — А как дедушка — здоров? Грустно было расставаться?

— Ну, конечно, он ведь старый.

— Да я сама уже совсем старуха.

По рельсам подкатило что-то вроде собачьей будки на колесах; будку толкали два корейца, по обе стороны ее висели красные фонари. Внутри на двух скамейках помещалось шесть человек.

— Это здешние рикши. Смешные, правда? Но здесь больше ездить не на чем... Скоро проведут трамвай, — сказала мать.

Макисима с матерью и с мальчиком сели. Тележка покатила с грохотом и скрежетом. Между крытыми соломой домиками корейцев попадались здания с крашеными железными крышами, вероятно японские учреждения. Среди корейцев в белых платьях, несущих за спиной мешки сосновых игл или едущих верхом на ослах, проходили, поблескивая саблями, полицейские в фуражках с толстым красным кантом.

— Ого, какие здесь книжные магазины! — воскликнул Макисима.

— Здесь довольно много хороших магазинов. Крупные купцы из Сеула почти все имеют здесь свои отделения, — пояснила мать. — А ты все такой же: сейчас же заметил книжный магазин!

— Да, я хочу серьезно взяться за ученье.

— Учиться хорошо, но без службы трудно. В Корее первое дело — торговля. Правда, здесь много ученых, но только что они зарабатывают? Сам знаешь! Купцам лучше всего.

Для Макисима эти слова прозвучали полной неожиданностью. Когда он уезжал в Токио, мать со слезами внушала ему: «Учись, учись побольше». Эти слова воодушевляли его на упорную борьбу. А теперь, через восемь лет, мать с сыном так далеко отошли друг от друга. Макисима почувствовал себя одиноким. Взглянув на лицо матери, сияющее радостью от долгожданной встречи, он невольно с горечью подумал о том, какими злыми шутками богата жизнь, и почти позабыл мальчику из лавки, благодушно покачивавшемуся на скамейке рядом с ним.

После трехсуточного пути он чувствовал сильную усталость, но мать,

не дав ему ни минуты отдохнуть, повела его знакомиться с отчимом. Увидев, как отчим возится за конторкой, Макисима почувствовал легкое презрение. Тем не менее он, как принято, поблагодарил отчима за родственное внимание, которое тот ему оказывал во время учения в Токио и пребывания в армии. При этом ему стало как-то не по себе: «Точно благодаришь за то, что он взял замуж мать». Однако, привыкнув за десять лет ко всяким унижениям, он нашел в себе силы превозмочь это чувство. Он даже прибавил: «Благодарю и за мать». У матери был какой-то заискивающий взгляд, и это тоже ему было неприятно. Но зато, когда она переводила глаза на рослую фигуру сына, в них светилась радость.

Поужинали местной достопримечательностью — говядиной. После ужина, с аппетитом прихлебывая водку, отчим стал расспрашивать о новостях в Японии.

— Может, и ты выпьешь на счастье?

— Я не пью.

— Водки не пьешь, а куришь?

— Да, в армии привык немножко.

— А раньше ты не курил! Водка полезна для здоровья, а табак — яд, — вставила мать.

Когда ужин кончился, Макисима почувствовал смертельную усталость, ему хотелось сейчас же лечь. Заметив это, мать велела служанке приготовить постель. Тем временем отчим принес несколько больших картонных коробок, плотно набитых флакончиками с каким-то беловатым порошком. Макисима вздрогнул; в армии он два года работал санитаром и при первом взгляде сразу же догадался, что это за порошок. Он смотрел, сдвинув брови. Отчим разложил нарезанные квадратиками бумажки и в каждую насыпал немножко порошку. Потом он принялся заворачивать. Пришли три приказчика из лавки и взялись за ту же работу. Мать тоже помогала.

Макисима некоторое время смотрел на них, но так как ни мать, ни отчим не предложили ему итти спать, он волей-неволей тоже стал заворачивать порошки. Бумага слегка шелестела. «Что я делаю? — подумал он. — Ведь я прекрасно понимаю, для чего корейцы употребляют эти порошки!» При этой мысли его рука, державшая порошок, задрожала. Он бросил бумагу и громко зевнул. Мать испуганно оглянулась. Отчим о чем-то говорил с

приказчиком, но, услышав его зевок, замолчал и посмотрел на него. Потом, насупившись, опять стал раскладывать бумагу. Максима, увидя лицо матери, снова взял порошок и стал его заворачивать. «Зачем я это делаю? Кто знает, сколько зла, сколько преступлений вызовет этот порошок! Раз я знаю, что это народное бедствие, почему же я принимаю в этом участие в первый же мой вечер в Корее?» — мысленно говорил себе Максима. Нестерпимая усталость сковывала все его тело. Он подавил еще один зевок. Пробило два часа. У приказчиков слипались глаза от усталости.

— На сегодня хватит. Ложитесь все спать! — сказал отчим. Приказчики, встрепенувшись, вежливо простились и вышли. Мать принесла чаю.

— Ну, теперь и ты ляжешь, устал ведь... Только приехал и сразу изрядно поработал, ха-ха-ха... — засмеялся отчим и зевнул. Максима уже все в этом доме внушало острую злобу. Он невольно вздохнул.

Тюфяк и одеяло, однако, оказались новые, мягкие, подушка большая и удобная. Он с наслаждением растянулся.

— К твоему приезду все сделано новое, — сказала мать, присев возле его постели. Опять после многих лет Максима почувствовал материнскую заботу.

— Мне очень жаль, что тебе пришлось работать — ночью, усталому, прямо с поезда... Ничего не поделаешь... Как тяжело мне тут приходилось... Но я всегда думала, что все ради тебя. Лишь бы мы были вместе, тогда ничего не трудно.

Мать вытерла слезы. Максима слушал ее с грустью. Ему казалось, точно он искал света, а забрел в темный тупик. Он добирался сюда издалека, рисуя себе в мечтах свободную жизнь колоний, и в первый же вечер ему пришлось делать нечто ужасное — и делать, и видеть, и слышать, и чувствовать. И теперь к унижениям, пережитым на заводе и в армии, прибавилось еще худшее унижение старого семейного уклада, «Пока человек жив, повсюду связывает ему руки голод», — думал он, проклиная гнет, преследующий его всю жизнь как неотвязный призрак. Так заснул он в день встречи с матерью после стольких лет разлуки.

На утро он почувствовал себя совершенно отдохнувшим. И разговор с

матерью в теплом одеяле был веселей.

— Не беспокойся, мне уже двадцать четыре года, я могу бороться! — сказал он в ответ на тревожные расспросы матери о его планах на будущее.

Он вышел в лавку. В довольно просторном помещении были разложены всевозможные товары. Максима подошел к приказчикам и стал смотреть на улицу. В лавку один за другим входили землисто-бледные, как мертвецы, корейцы, и каждый покупал по такому порошку, какие он накануне вечером заворачивал. Максима дрожал, точно облитый ледяной водой. Совесть его грызла, он весь сжался. «Почему одни люди, бледные, как мертвецы, тратят заработанные тяжелым трудом деньги на снадобье, которое губит их здоровье, а другие на этом наживаются?»

Снова вошел человек, бледный, как мертвец, посмотрел на него свинцовыми глазами... Максима в ужасе бежал из лавки.

Наступил вечер. Отчим и приказчики занялись тем же делом, что и накануне. Но Максима не присоединился к ним. Он прислушивался к доносившемуся через перегородку шелесту бумаги, и у него от стыда горели уши. Он презирал собственную трусость, которая мешала ему войти туда и прямо бросить им в лицо свое негодование. «Что мне делать?» — думал он и не находил в себе сил даже спокойно поговорить с матерью.

5

Ночью он вдруг проснулся от звука чьих-то взволнованных голосов. Он сразу узнал отчима и мать. Они о чем-то горячо спорили. Мать упорно что-то доказывала; при всей своей молчаливости она иногда обнаруживала скрытую энергию. Максима чувствовал, как от звука их голосов в нем подымается острая злоба.

— Оставить этого молодца у нас, значит провалить всю лавку, — утверждал отчим.

— Я не спорю, он неправ, но ведь это не чужой, он мой родной сын, будьте снисходительней...

Максима внимательно прислушивался к их спору. Теперь они уже оба кричали, слышалась та сердитая ругань отчима, то негодующий отпор матери. Раздался треск разбитой посуды. Максима поднял голову. Кто-то резко раздвинул карачами и выбежал в

коридор; это была мать. Максима выскочил из комнаты.

— Иди сюда! Скорей! — пронзительно крикнула мать и бросилась к нему. За ней, без кровинки в лице, бежал отчим, размахивая сковородой. Максима преградил ему дорогу. Две пары горящих ненавистью глаз уставились друг на друга.

— Что вы делаете! — крикнул Максима и, чувствуя, как напряглись у него мышцы, схватил отчима за локоть.

Отчим вырвался, повернулся и побрел обратно в комнату. Но он не выпускал сковороды из рук, все еще дрожащих от гнева.

Мать уныло стояла в конце коридора. Максима подошел к ней поближе, но, когда увидел ее лицо, слезы навернулись у него на глаза.

— Я боюсь жить с таким сумасшедшим... Но не могу же я сесть тебе на шею! Обзаводись скорей своим домом, — проговорила мать, глотая слезы. — А то уедем с тобой в Японию. В Японии я найду работу, и мы с тобой заживем на славу.

Максима молчал. Он прекрасно знал, что, если они вдвоем вернутся в деревню, в свое разоренное гнездо, им не на что будет существовать. И матери и сыну некуда было идти.

6

Вскоре после этой сцены Максима на гроши, тайком полученные от матери, снял крохотную каморку в номерах на окраине Хэйдзё. Тоска одиночества, негодование, гнев — все эти чувства попеременно сверлили душу Максима в те часы, когда он праздно лежал на циновке в своем жалком обиталище.

Максима пробовал посылать свои размышления в популярный среди молодежи журнал «Литературный мир», но его рукописи неизменно возвращались назад. В конце концов Максима перестал посылать свои статьи в журнал. Но, так как ему жаль было прятать плоды своих размышлений в ящик письменного стола, он послал кое-что в издававшуюся в Хэйдзё единственную японскую газету «Ничиници». К его удивлению, его статья сразу же оказалась помещенной на первой странице. Имя его было набрано крупным шрифтом. Еще больше он удивился, когда узнал, что редактор поместил ее без особого интереса к содержанию, просто потому, что, как он сказал, «все лучше, чем перепечат-

ка из старых газет». С этого времени к Максима в номера стал наведываться некий полицейский чин.

— Для вас лучше поменьше писать в газетах, — предостерегал он Максима.

Благодаря стараниям и хлопотам матери Максима поступил в контору на жалованье в 20 иен и в течение месяца ходил на службу в хакама¹, с завтраком в картонной коробке, но в конце месяца был уволен по причинам, которых он так никогда и не узнал. Тогда, воспользовавшись помещением в газете его статьи, Максима устроился на работу в редакции на жалованье 30 иен в месяц. Устроившись, он вздохнул с облегчением. Это был его первый шаг к раскрепощению от постылого труда. Первые два месяца он дрожал, опасаясь увольнения. За тридцать иен он должен был писать «передовые», но этим одним его обязанности не исчерпывались.

7

Однажды, когда Максима с обычным усердием писал очередную статью, редактор бросил ему на стол нечто вроде циркулярного письма.

— Поместите в газете, — сказал он.

Максима молча развернул письмо, думая про себя, что, вероятно, опять добродушный редактор поверил какому-нибудь заезжему знахарю и готов рекламировать его в своей газете. Однако это оказалась листовка с заглавием, отпечатанным крупным шрифтом: «Вечер утешения безработных».

В одном только Хэйдзё имелось огромное количество людей, которые, оставшись после войны без работы, хлынули в колонию, но и здесь не нашли заработка. Листовка сообщала, что, по почину промышленника Миямото (ранее вожака хунхузов, ныне повсеместно уважаемого обладателя миллионного состояния), в Хэйдзё устраивается «вечер утешения» проживающих здесь безработных.

Редактор, улыбаясь, сказал:

— Дайте один столбец, распишите немножко эту штуку. Знаете, входная плата 10 сен, а будут давать бэнто² и бутылку «масамунэ»³, так что успех

¹ Разделенная внизу юбка, принадлежность официального японского костюма.

² Картонный или деревянный ящик с едой, какие берут с собой из дому школьники или служащие.

³ Сорт японской рисовой водки.

обеспечен. Миямото выбросил на это дело пятьсот иен. Мне сегодня говорили, что в Сеуле три тысячи безработных, а в одном Хэйдзэ их около тысячи. Из наших соотечественников в Корею двадцать процентов безработных. Потрясающе! Да, это очень важный вопрос.

Макисима вспомнил утро своего приезда в Корею. Он представил себе отчаяние тех людей, которые вместе с ним сошли на пристань в Фузани и влачат голодное существование в дешевых номерах или на квартирах у сострадательных знакомых. Он не мог без содрогания подумать об унижительных и темных днях, проведенных им самим в доме у отчима. Макисима решил поместить извещение о собрании в хронике на третьей странице, а кроме того, посвятить этому вопросу передовую. Начатую же было передовую он отложил. Он чувствовал то волнение, которое отличает настоящего журналиста. «Мы приветствуем это начинание и, обещая всяческую посильную помощь, вместе с тем ценим энергию инициаторов», — закончил он статью. Но эти слова показались ему пустой и лживой фразой, и он решительным движением опять взял в руки кисточку: «Однако усиление национальной мощи и развитие промышленности, совершающиеся в интересах клики военных или кучки капиталистов, ничего не дают массам. На их долю достаются только безработица и голодная смерть. Те из них, кто полностью уясняет себе положение вещей, поймут истинный смысл этого начинания».

В назначенный день Макисима, слегка взволнованный, отправился на собрание. Он пришел с значительным опозданием, и зал был уже битком набит. Макисима, у которого со словом «безработный» связывалось представление о рабочем в рваной обуви и грязной одежде, был поражен тем, что в зале оказалось немало людей интеллигентного вида, в серых хаори и золотых очках. Но, повидимому, и они были безработные. Попадались и молодые люди в мятых, грязных белых кимоно и старики лет за пятьдесят. Одни из них жили на хлебах у родственников, другие, не имея ни родных, ни близких, ютились в закопченной клетушке ночлежного дома. Засучив рукава, обнажив мускулистые руки, они маленькими глотками пили из бутылочки «масамунэ». На небольшой эстраде

стоял стол, покрытый белой скатертью. Когда коробки с едой были розданы, на эстраду гуськом вышли устроители. У каждого на груди был значок Красного креста. Их появление напомнило Макисима выход актеров перед началом спектакля. На одних были надеты нарядные хакама, другие щеголяли в европейских сюртуках. Среди устроителей находился и лысый ростовщик, к которому Макисима нередко заходил. Ему вдруг стало смешно. Он представил себе, с каким торжественным видом этот скряга дал согласие пожертвовать ничтожную долю своих прибылей, усердно накапливаемых долгие годы. А теперь, махнув рукой на зря истраченные деньги, он, чтоб поддержать свою честь жертвователя, чинно восседал на эстраде.

На трибуну взошел одетый в сюртук председатель Миямото. Его встретили аплодисментами. У Миямото, в отличие от остальных, грудь была увешана орденами. Один из них он получил за деятельную защиту государственных интересов в годы японо-русской войны, когда он был на территории России. Была у него и медаль за военные заслуги. Самым ослепительным блеском сиял орден голубой ленты; в Корею его имели еще очень немногие, но Миямото уже успел получить его за исключительные заслуги в деле освоения колонии.

Миямото отпил воды из стакана, стоявшего на кафедре, и, сделав общий поклон присутствующим, чрезвычайно спокойным голосом начал речь.

— Господа! Мы покинули нашу родину и, преисполненные надежд, приехали на эту новую территорию, чтобы найти свое счастье и вместе с тем отдать свои силы на благо государства. Но, увы, действительность и предположения иногда расходятся, и некоторые из нас, не имея возможности развернуть свои силы, испытывают затруднения в приискании работы. Нам, соотечественникам, пребывающим в Корею, надлежит соболезновать друг другу в этом несчастье, ободрять друг друга и твердо надеяться на грядущее промышленное развитие. (Раздались одобрителльные возгласы.) Это священное назначение японских граждан и их долг. Сегодня я, со своей стороны, делаю скромное приношение на пользу общего дела и прошу вас: не стесняйтесь, кушайте... — Закончив свое краткое слово, он сошел с трибуны. Макисима рассмотрел свою короб-

ку с едой, которую предлагалось «не стесняясь кушать». В ней лежали сушеная каракатица, жареная рыба, полевая горчица и жень-шень. Некоторые не ели, а заворачивали содержимое коробки в носовой платок.

Максима обратил внимание на шум у входа. Зал был битком набит. У входа стоял распорядитель и подпирает дверь большим толстым бревном, а за дверью шумела толпа, не попавшая в зал. Изнутри кричали, снаружи ревели, казалось, что дверь вот-вот поддастся, и толпа хлынет в зал. Полицейские в белой форме и касках с ремешками под подбородком, обливаясь потом, с трудом поддерживали порядок. Сколько народу жаждало получить за 10 сен коробку с едой! Сидевшие в зале самодовольно сияли, чувствуя себя привилегированными. И, как будто утешившись в своей жизненной неудаче, примирившись с ней, они пили из бутылочек водку, потягивая ее маленькими глотками.

На трибуне в это время произносил весьма нравоучительную речь начальник областного управления. Затем выступил глава торгово-промышленного объединения, который повествовал о собственных успехах; за ним последовала проповедь настоятеля буддийского храма о воздаянии за добро. Каждую речь покрывал гром аплодисментов. Когда речи кончились, на эстраде приступили к приготовлениям для увеселительной части программы. Вдруг на эстраду вскочил какой-то человек. Так как речи окончились, публика в зале, почти не обращая на него внимания, отдыхала, обмахиваясь веерами. Мужчина этот был одет в поношенный пиджак, шея у него была обмотана чем-то вроде полотенца неопределенного цвета. Концы свешивались ему на грудь, и он то и дело стирал ими катящийся со лба пот. Однако лицо у него было приятное, белое, хорошо очерченное, на носу были золотые очки. «В этом лице есть благородство древнегреческого философа», — подумал Максима. Незнакомец, поблескивая очками, обвел взглядом зал и вдруг звонким голосом крикнул:

— Господа!

Все головы изумленно повернулись к эстраде.

— Знаете ли вы, почему вы безработные? Некоторые говорят: оттого, что нет работы. Но можно ли отмахнуться таким пустяковым объясне-

нием? Подумайте хорошенько, что это значит. В наше время всякая работа зависит от щелканья костяшек на счетах капиталистов. А капиталисты дают вам работу только тогда, когда это выгодно им самим. Следовательно, вы все — жертвы капиталистической выгоды!

Он встряхнул своей львиной гривой. Из зала раздались пьяные выкрики: «Валяй!» Но, повидимому, кричавшие не понимали, о чем он говорит. Не обращая никакого внимания на выкрики, оратор потряс рукой.

— Посмотрите: разве во время японо-русской войны сотни тысяч наших соотечественников не окрасили своей кровью берега Дэдоган? Надо ли говорить, что большинство погибших здесь — да не только большинство, а все они — это мы, мещане и рабочие, наши отцы, братья, мужья, сыновья. Мы добыли эту землю кровью наших близких. И в награду за это нас обрекают на безработицу и голодную смерть!

Публика, очевидно, начинала смутно улавливать смысл его слов. Все слушали напряженно, зачарованные красноречием оратора.

— В этой войне мы лишились наших братьев, родители — детей и дети — родителей, а что мы получили? — безработицу. Но посмотрите на капиталистов. Война принесла им неслыханные барыши. Но им все еще мало, и, не брезгая никакими средствами, они продолжают накапливать чудовищные богатства. А нам остается только безработица. Только голодная смерть.

— Верно! Продолжай!

Зал пришел в движение, раздались бурные аплодисменты. В эту минуту к эстраде подскочил какой-то мужчина, вероятно распорядитель, схватил оратора за ноги и стал тянуть его вниз.

— Что такое? Что такое? Дайте ему говорить!

— Продолжай!

Многие повскакали с мест. К эстраде бросилось еще несколько распорядителей. Вместе с ними, стуча саблей, подбежал полицейский.

— Прежде чем искать работы у капиталистов... — успел еще выкрикнуть оратор, но тут несколько человек стащили его с эстрады и грубо поволокли за собой. Максима, которому давно уже кровь ударила в голову, не-

вольно вскочил с места и стрелой кинулся туда.

— Что за самоуправство! — крикнул он и дернул толстую руку, вцепившуюся в воротник оратора.

— Верно, самоуправство, долой мерзавцев!

Поднялся общий шум. Зазвенела брошенная бутылка. Человек восемь—десять обступили оратора и толкали его к выходу. Он оказался притиснутым к закрытой двери. Максима сильным напором плеча заставил разжаться руки, державшие оратора; несколько человек, которые знали его в лицо, удивленно посторонились, уступая ему дорогу.

— Это мой товарищ, не троньте его! — крикнул Максима. Оратора держал теперь только полицейский.

— Это мой товарищ, отпустите его на мою ответственность. Он ведь не учинил беспорядка, — обратился Максима к полицейскому. Но тот, не зная Максима, продолжал крепко держать своего пленника за руку.

— Послушайте, послушайте, Максима-кун, ведь неудобно... Вы из редакции — и в такой компании... Отойдите... — вмешался подошедший редактор газеты. Он обратился к полицейскому: — Отпустите его, ответственность я беру на себя. — Полицейский молча кивнул.

Оратор оглянулся на Максима и громко расхохотался:

— Ну, извините за беспокойство! Ха-ха-ха, ну и представление, занятней, чем предстоявшая программа, — заговорил он таким тоном, как будто все случившееся несколько его не касалось. Максима очень понравилось его поведение.

— Хорошо бы как-нибудь побеседовать на досуге, — сказал он. — Где вы живете?

— В корейском квартале. В переулке возле уездного управления, увидите у ондоля вывеску «Дэимминся», вывеска больше входа... Непременно приходите! Выпьем. А занятно все это вышло, — опять весело захохотал тот.

Максима ушел с собрания безработных освеженный, как будто после бодрящего холодного душа. В особенности радовало его то, что заключительные слова написанной им передовой точка в точку совпали с речью оратора.

ГЛАВА III

1

Снова наступила унылая весна и быстро минула. В Корее весна всегда коротка. И снова надвинулось томительное лето. Максима ежедневно ходил в редакцию и небрежно просматривал почту, скопленную у него на столе. Попадались здесь и неряшливо набранные провинциальные газеты, и отпечатанные на гектографе сообщения корреспондентов, и телеграммы из Токио, и письма в редакцию, иногда и пригласительные билеты. Первые две три корреспонденции он просматривал с некоторым вниманием, но остальное просто вскрывал со скучающим видом и сейчас же бросал. В этом сказывалось его душевное состояние. Составлять газету из этих никчемных бумажек было ему противно до тошноты. Ему хотелось разорвать их на мелкие клочки, выбросить в корзину и залить весь газетный лист своим негодованием.

— Асаи-кун, просмотри, пожалуйста! Вряд ли что-нибудь есть, но все-таки...

С этими словами Максима бросил пачку корреспонденции на соседний стол, а сам откинулся на спинку стула и, вытянув губы, стал пускать колечки дыма.

— Максима-кун, вот кое-что интересное, — сказал Асаи, протягивая ему открытку.

— Что это? Письмо в редакцию?

— Да.

— В этих письмах никогда ничего путного не бывает.

— Нет, тут совсем другое. Посмотри, тебя это порадует.

— Меня порадует? Не может быть, — поморщился Максима.

— В чем дело? — сказал он, беря в руки открытку. Она вся кругом была мелко исписана. Максима лень было разбирать. — О чем тут говорится? Ну, и экономно же написано!

— Вероятно, на письмо денег нехватило.

— Так в чем же тут дело? — спросил Максима, все еще не приступая к чтению.

— Угольные копи С., где это? — пробормотал про себя Асаи.

— Где копи С.? На что это тебе?

— Эта открытка оттуда.

— Как, оттуда? — Максима проглядел первые две-три строки. Ему бросились в глаза слова «заразился и заболел», «точно мы не люди», перед словами «точно мы не люди», стояло: «и жена и дети слегли», «а хозяева»... Максима впился в строки открытки.

— Это очень интересно — воскликнул он, просмотрев ее до конца.

— Если все это правда, то хозяева копей совершают настоящие преступления, — сказал Асаи спокойно.

— Все капиталисты одинаковы, иначе им невыгодно. «Для разработки богатств новой территории» иначе нельзя.

Максима чувствовал, как его кровь начинает быстрее обращаться в жилах. Ему казалось, что между строк открытки читается все то, о чем он уже давно думал. Положив в основу факты, о которых сообщалось в открытке, он одним духом написал нечто среднее между статьей и сообщением, снабдив написанное крупным заголовком: «Жестокость богачей». Проверять содержание открытки он считал излишним, настолько он был уверен в правдивости корреспонденции. «Может ли мы стерпеть, чтобы наши соотечественники, проживающие в Корее, приносились в жертву выгодам жестоких богачей? Мы отдаем нашу кисть на защиту счастья ста с лишним тысяч наших соотечественников», — этими словами он закончил свою заметку. Вместо слова «богачи» у него первоначально стояло «капиталисты», вместо «соотечественники» — «рабочие», но, подумав, он переправил опасные слова. «Правда, Ханэда уехал в Токио, но все же... — думал Максима. — Глупо с первого же раза навлекать на себя неприятности». Он сам понес заметку в типографию и заодно расспросил работавших там корейцев о местонахождении копей. Оказалось, что они расположены примерно в четырех ри, по ту сторону реки Дэдоган.

— Завтра утром я отправляюсь в копи. Не хочет ли кто-нибудь присоединиться? — спросил Максима, вернувшись в редакцию.

— Ты еще будешь писать об этом? Хватит! — отозвался Асаи.

— Конечно, еще. Таким делом надо заняться как следует. А потом нужно подумать и о тех, кто прислал открытку. Пойдем, Асаи-кун.

— А где они, эти копи?

— Всего четыре ри отсюда, в уезде М., итти по реке.

— А, знаю, я там был как-то раз.

— Вот и хорошо, покажешь дорогу.

2

Рано утром они переправились через реку. Под палящими лучами летнего солнца серая гладь вод отливала ровным блеском, точно шлифованное стекло. Сойдя с парома, они пошли по белому песчаному берегу. Асаи время от времени прихлебывал виски из висевшей на боку фляжки и, вытирая со лба пот, говорил: «Сегодня будет жарко!». Вскоре они поднялись на высокую береговую насыпь. Как и предсказывал Асаи, день стоял ясный, сухой, воздух был пропитан зноем,верху простиралось безоблачное небо. Они пошли по крутой каменистой тропинке. Невдалеке, мягко изгибаясь, тянулась цепь невысоких гор. Монотонность пейзажа изредка нарушала высящаяся где-нибудь на вершине сосна, да на фоне обнаженных красноватых холмов и полей белели фигуры прохожих — корейцев.

Отдохнув на камне, они зашагали дальше. Красная глинистая дорога тянулась нескончаемо. Не раз приходилось переваливать через низкие пологие гребни.

— Ты сказал, четыре ри? Мы наверняка прошли четыре, ведь уже два часа. Четыре ри мы прошли наверняка, где же копи?

— Слушай, вон там, кажется, идут японцы. Посмотри туда, на перевал! — вдруг оживился Асаи. — Человек семь: два-три корейца, а остальные японцы. Посмотри, видишь?

Максима посмотрел в ту сторону, куда указывал Асаи. С узкого перевала, с обеих сторон сдавленного высокими холмами, спускалась кучка людей. Только двое были в корейской белой одежде, остальные действительно, видимо, были японцы.

— Ты, пожалуй, прав.

— Ну вот, все в порядке! — обрадовался Асаи.

— Ты думаешь, они знают?

— Они, наверно, идут с копей.

Тем временем группа приближалась.

— Сматри, среди них женщины. Наверно, гейши? — сказал Асаи.

— Ну, и что ж, в Корее в любой деревне есть гейши.

Группа в восемь человек подошла совсем близко. Двое корейцев несли большие узлы. Женщины все были молодые, не старше двадцати лет. Их

узорчатые пояса казались особенно яркими в этой обстановке. Асаи спросил о дороге в копи.

— Угольные копи С.? Вот по этой дороге, — ответил единственный в группе мужчина-японец и показал пальцем и подбородком в ту сторону, откуда приятели шли. Те растерянно переглянулись.

— Вот так заблудились! — вздохнул Асаи.

— А далеко еще? — с беспокойством спросил Максима.

— Мы как раз идем туда. Если вы не знаете дороги, идемте с нами.

— Вот и прекрасно, приятные попутчики! — воскликнул Асаи, пробегая взглядом по лицам женщин. Максима тоже подошел ближе. Но он смотрел на этих молодых женщин, гурьбой совершающих странствие по проселочным дорогам Кореи, не только с обыкновенным мужским любопытством, но и с жалостью. Он хотел пойти сзади и поэтому посторонился, пропуская их вперед. Встретившись в такой глуши с двумя прилично одетыми молодыми людьми, женщины держались немного смущенно и кокетливо. В особенности привлекла внимание Максима одна из них, которая, покраснев до кончиков ушей и опустив глаза, старалась проскользнуть незамеченной. Но, когда он внимательно посмотрел на нее, его как будто что-то кольнуло. Он посмотрел еще раз — сомнения не было. «Токико!» — воскликнул он мысленно. Он не верил своим глазам, настолько это казалось ему невозможным. И все же это была она.

— Что с тобой? — спросил Асаи, хлопнув его по руке. В таких случаях он был удивительно наблюдателен. Максима невольно покраснел.

— Ты знаешь эту женщину?

Максима ничего не ответил.

Асаи хихикнул. Максима не столько был смущен его вопросом, сколько потрясен тем, что Токико оказалась среди этих женщин. «Как она изменилась!» — думал он, украдкой поглядывая на нее. Ничто в ней не напоминало той девушки, с которой он познакомился на пароходе. Вдруг в нем шевельнулось инстинктивное отвращение. Он не мог поверить, что эта слегка сутулая женщина, идущая впереди него, та самая Токико с девичьей улыбкой на белом пухленьком личике. Волосы девушки были уложены в прическу, но узел ослабел, и отдельные пряди свешивались на воротник, обсы-

панный пудрой. В ее ярком муслиновом платье было что-то вызывающее.

Солнце садилось. Из сосновой рощи доносилось карканье ворон. Далеко в поле слышался рев осла, похожий на рожок деревенского возницы. Подул прохладный ветерок. Максима несколько раз порывался заговорить с Токико, но каждый раз, взглянув на нее, думал, что это жестоко, что для них обоих самое лучшее итти молча, предаваясь своим воспоминаниям.

3

При свете вечерней зари на лиловой горе четко вырисовывались очертания копей. Внизу, до середины, гора была черной от угля. Рядом громоздилось несколько таких же черных, европейского типа зданий. Из толстых железных труб подымался черный дым. В стороне, на вершине другой горы, высились трехугольные башни.

Вдруг над крышей одного из зданий взвилась струя белого пара, и в то же мгновение пронзительный, протяжный и удивительно печальный гудок разнесся по горам и широким полям в надвигающихся сумерках и, как будто растворившись в них, замер. При звуке гудка по всем лицам пробежала тень грусти, и даже Асаи, который все время болтал и смеялся с женщинами, примолк.

— Слушай, я все-таки не знаю, где же мы устроимся на ночь? — беспокойно спросил он.

— По-моему, лучше всего попроситься на ночь к шахтерам, которые нам писали.

— К шахтерам? Брось шутить. Чтобы насквозь пропахнуть угольной пылью? — решительно отверг его предложение Асаи. — Ты видал, вдоль дороги, где мы шли, совершенно черные дома? Вот там живут шахтеры. Можно подумать, что это сарай, где пережигают древесный уголь. Разве там мыслимо заснуть!

— По мне и там хорошо.

— Лучше доверься мне, я тебя поведу в такое место, где пахнет не угольной пылью, а пудрой.

— Я устроюсь как-нибудь, а ты иди куда хочешь, — возразил Максима.

Наступала ночь. Максима пошел по мягкой глинистой дороге, покрытой слоем угольной пыли. По сторонам тянулись ряды барачков с характерными зигзагами крыш. Неподалеку, на невысоком холме, горел дуговой фонарь.

Макисима прошел мимо машинного отделения и быстро миновал завод. Поодаль стояла группа корейских домов. Опасаясь показаться назойливым, он все-таки подошел и заглянул внутрь. В ондоле в унылой позе сидела японка лет пятидесяти, просто причесанная, в платье с узкими рукавами.

— Скажите, далеко ли отсюда место, куда кладут заразных больных? — спросил Макисима. Женщина испуганно обернулась, как будто очнувшись от глубокой задумчивости.

— Вы приехали из Японии?

— Что?

— Вы родственник какого-нибудь больного?

— Нет.

— Вы доктор?

Макисима почувствовал себя неловко.

— Нет, я просто пришел навестить больных.

— А, вот что! Если хотите, я вас провожу. Вы приехали из Японии? Все мы здесь мучаемся вдали от родины, — продолжала она, очевидно высказывая постоянную свою мысль; и с этими словами встала и вышла из дому.

— Мне бы не хотелось затруднять вас, — сказал Макисима.

— Ничего, там мой старик лежит. Меня как раз дочь сменила, я только что пришла и собиралась лечь.

— Искренно сочувствую. Ваш муж?

— Да.

— Где вы жили в Японии?

— На Сикоку, мой муж плотник. Мы приехали втроем с дочерью, да вот кормилец наш слег, худо пришлось, — грустно сказала женщина. Макисима понял, почему у нее такое печальное лицо. Факты, о которых говорилось в открытке, начинали понемногу приобретать реальность. Он помолчал, выжидая. Ему хотелось, чтобы эта женщина сама рассказала все. Профессиональный навык журналиста подсказывал ему именно такой путь.

— Знаете, хозяйка у нас очень плохая... — вдруг сказала женщина. Его желание быстро исполнялось.

— Что, не заботятся о больных?

— Какое там! Когда мы сюда ехали, чего только нам ни сулили. А как попали на место, все вышло по-другому. Может, вы думаете, что я вру, так расспросите больных, — сказала женщина, очевидно объясняя себе его молчание тем, что он сомневается в ее словах. Тогда Макисима вкратце рас-

сказал ей, зачем он попал на шахту.

— Вот как, вот как! Это вы хорошо сделали. Здесь все будут рады. Только, знаете, болезнь — всегда болезнь, будьте осторожны, — добавила она с женской заботливостью. — Очень там грязно, все больные, все лежат, вы уж не удивляйтесь. Это вон там.

Она показала на сарай, видневшийся в лунном свете посреди поля.

4

Это был барак, состоявший из столбов, затянутых циновками. Взглянув на него, Макисима сразу вспомнил лагуги нищих, которые он видел в детстве неподалеку от своей деревни, на верховьях реки.

В нос ему ударил запах карболки. Макисима вошел вслед за провожавшей его женщиной. Перед ним предстала невыразимо жуткая картина крайней человеческой нищеты. По обе стороны лежало человек тридцать больных. У него захватило дыхание от тошнотворного зловония. Это был запах разлагающегося человеческого тела и сырости. Макисима догадался, что здесь лежат больные дизентерией, так как в это время в Корее была эпидемия дизентерии, а в армии ему пришлось наблюдать эту болезнь. На циновках он сделал несколько шагов и замер на месте. Больные лежали головой к циновкам, заменявшим стены барака. У изголовья горели шахтерские лампы, на полу валялись пустые консервные банки, чашки. У одной постели сидели и тихо разговаривали несколько человек. Мельком взглянув на полусклоненного ими больного, Макисима увидел, что лицо его закрыто куском полотна. «Умер!» — вздрогнув, подумал Макисима. Женщина, которая шла впереди него, прямо направилась туда и сразу села на циновку, которой был застлан земляной пол.

— Как больной? — спросила она боязливо у сидевших рядом.

— Да что уж тут, тетушка... Кончился, — сказал один. Лица у всех были мрачные.

Женщина прикрыла лицо рукой и заплакала. Макисима стоял, как каменный.

Немного погодя женщина провела его к постели мужа. Макисима присел у постели. Больной лежал на тонком соломенном тюфяке.

— Видите, не нужно бы вам ходить сюда, грязно очень, — сказала она,

подбирая разбросанную бумагу. У Максима спирало дыхание от запаха испражнений, Больной был очень слаб, его загорелое лицо приняло землистый оттенок, глаза с расширенными зрачками потускнели.

— Как вы себя чувствуете? — с участием сказал Максима.

— Спасибо. Он давно уже болен, — сказала жена с тоской в голосе. Она не сводила глаз с лица больного. Рядом у постели, съевшись, как котенок, молча сидела девушка лет шестнадцати, в платье такого же цвета, как у матери. — В таком месте не побережешь здоровья, как хочется, — добавила она.

— А врач бывает?

— Казенный врач приходит раз в семь дней.

— Раз в семь дней?

— Да, раз в неделю заглядывает.

Это «заглядывает» показалось Максима горькой иронией.

— Оттого-то здесь, что ни день, кто-нибудь помирает. Вот нынче вечером один умер... Здесь совсем пропадешь... А хозяева делают, что хотят, — всхлинула женщина. Понизив голос, она добавила: — Я рассказала этим, что пришли к покойнику, зачем вы приехали. Они очень обрадовались, хотят непременно повидать вас, поговорить.

— Непременно. Они на той же работе, что и ваш муж?

— Нет, на другой, они каменщики.

— Здесь, в копиях, много японцев?

— О да, много! Всех специальностей.

— А вы сами когда приехали?

— Как раз год назад.

— А давно ваш муж болен?

— Уж пятьдесят дней.

— Пятьдесят дней! И ему ничуть не лучше?

— Вы же видите, как тут. А к тому же... — женщина посмотрела на лицо больного, хотела что-то добавить, но замолчала и вытерла глаза. Сидевшая рядом девушка тоже вытерла глаза. Максима больше не решился заговорить. От пламени лампы подымалась черная копоть.

Максима оглянулся в ту сторону, где лежал покойник. Рядом уже стояли грубо сколоченные носилки. Максима сунул руку в карман, вытащил две бумажки и тихонько положил их под чашку у изголовья больного.

— Я еще зайду. А с теми рабочими я поговорю сегодня. Берегите ва-

шего больного, — сказал он, подымаясь.

— Спасибо вам за участие.

Женщина привстала, чтоб проститься с ним. Опять на цыпочках, чтобы не разбудить больных, Максима пошел к выходу.

Покойника уже поднимали и укладывали на носилки. Подойдя ближе, Максима поклонился. Все вежливо ему ответили. Один был в простом белом кимоно, другие в рабочей одежде.

— Печально, — сказал Максима, остановившись.

— Да... тяжелая наша доля, — отозвался пожилой мужчина. В эту минуту к ним подошла та женщина, которая привела Максима.

— Слушайте, если что понадобится, скажите, у меня тут дочка, — обратилась она к рабочим.

— Ладно, тетушка, ладно, не беспокойся. Ты лучше ходи за своим больным, — сказал мужчина в белом.

— Верно, да ведь и этого жалко... — сказала она упавшим голосом и опять вытерла глаза. — Я вам говорила уже, расскажите вот ему, как поступают с нами хозяева.

— Сами видите, что делается, — сказал лысый мужчина в одежде рабочего.

— Когда вы освободитесь, мне бы очень хотелось от вас кое-что услышать, — неуверенно сказал Максима.

— Что вы, это нам надо вас просить... Слушай, тетушка, ты знаешь, где он остановился? — спросил тот же лысый рабочий у женщины, которая все еще стояла рядом.

— Нет, я лучше сам зайду к вам, завтра или послезавтра, — перебил Максима.

— Ну, ладно, пусть будет так. Только очень уж у меня грязно... Самое лучшее, если б вы зашли завтра в два часа дня. Тетушка, у тебя, правда, у самой больной на руках, но уж ты проводи...

Тем временем тело положили на носилки, и лысый рабочий вдвоем с молодым, стриженным ежиком, парнем подняли их.

— Неси до шахты, Йосида-сан, там смену, — сказал другой.

— Ничего, ведь на вечную разлуку, донесу куда угодно, — ответил лысый, которого называли Йосида.

— Легкий... Верно совсем высох, — сказал парень, стриженный ежиком, и встряхнул носилки.

— Ну, пошли потихоньку. — У всех лица приняли сосредоточенное выражение. Носилки бесшумно вынесли из сарая. Максима и женщина шли сзади.

5

Когда Максима пришел в столовую, где он уговорился встретиться с Асаи, уже почти наступила ночь. Асаи в столовой не было. Служанка на вопрос Максима сообщила, что он давно уже ушел из палатки к гейшам, которые сегодня прибыли в копи.

— Он сказал, чтоб вы, как вернетесь, сразу же шли туда, — добавила она.

В столовой во всех комнатах шумели посетители.

— Нет ли у вас где-нибудь тихой комнаты? — спросил Максима у служанки.

— Нет, все комнаты заняты.

Максима в замешательстве продолжал стоять посреди тесной прихожей.

— Вас зовут Максима-сан? Тут несколько раз приходили вас звать, от Ясуда-сан, что ли... — вдруг сказала другая, только что подошедшая женщина.

Ясуда была фамилия Токико. Но эти слова не нашли отклика в сердце Максима. Впечатления, которые он только что пережил, не позволяли ему думать с нежностью о Токико. Он промолчал.

Когда обе женщины ушли, ему волей-неволей пришлось обратиться к конторщику, который усердно писал что-то за конторкой.

— Нельзя ли здесь у вас переночевать?

— Нет, здесь негде ночевать, — ответил тот и, не взглянув даже на Максима, стал щелкать на счетах. Максима был так раздосадован его обращением, что сейчас же ушел.

Он задумчиво побрел к холму, поросшему душистой травой. По-летнему сухой воздух был чист и прозрачен, ярко сверкали звезды. Прохладный ветер струился тихо, как река. Чувствовалась ночная свежесть. Из палаток на холме доносился смех и громкие голоса. В траве при свете луны белели полевые цветы. Воздух был напоен их ароматом.

Мимо него медленно прошла женщина, закутанная в широкий шарф. Проходя, она как будто посмотрела на него, вероятно, это была одна из тех, кого он видел днем. Когда он уже разминутся с ней и задумчиво смотрел в сторону Дэдоган, его тихо окликнул женский голос:

— Послушайте...

Максима оглянулся с таким чувством, как будто случилось то, чего он все время ждал. Перед ним стояла Токико в хаори поверх светлого кимоно. Максима несколько натянуто поклонился.

— Давно не видались, — сказала она дрожащим голосом и подошла ближе.

— Да, давно.

Максима тоже был глубоко взволнован.

— Вот где привелось встретиться... Кто мог ожидать!

— Да, верно... удивительная встреча.

— Удивительная... видно еще что-то связывает нас, — сказала она печальным тоном.

Максима понял по ее словам, как она изменилась. Ее прежняя девичья прелесть исчезла, но зато в ней чувствовалось очарование почти зрелой женщины. И Максима невольно поддавался этому очарованию.

— Да, много времени прошло, и вы очень изменились, — прямо высказал он свое впечатление.

— О, мне право стыдно... — почти шутливо возразила она.

Максима не ожидал такого ответа.

— Да, нет, что вы... просто нам обоим пришлось трудно, — только и нашелся он сказать.

— Смотрите, не простудились бы вы на ветру. Может быть, пройдете ко мне? У меня не очень удобно, но все же лучше, чем здесь.

У Максима нехватило духу отказаться. Мужчины, направлявшиеся в палатки, окидывали их внимательным взглядом.

— Я столько раз за вами сегодня вечером посылала. Может быть, вам там другая понравилась? Ах, я стала совсем дурная, — сказала она, входя в палатку.

— Я ведь сюда по делу, — заметил Максима, как будто между прочим.

— А, так вы и уходили по делу? Извините, я вас обидела... Я право стала дурная. — Она бросила на него кокетливый взгляд.

— Что вы, вовсе нет, — волей-неволей ответил Максима.

— Ведь я уже не та... — проговорила она тихо, как будто вспоминая. — Когда я встретилась с вами на пароходе, я была совсем девочка.

На ее лицо набежала тень печали.

— Выпьете пива? — спросила женщина, наклоняя вынутую из воды бутылку.

— Я не пью.

— Ну, пива... вы же мужчина.

Она наполнила стакан так, что пена перелилась через край.

— Мне хотелось бы с вами сегодня о многом поговорить. Вы вечером с кем-то были... — она смущенно улыбнулась, прикрывая рот рукой, и стала чистить яблоко.

— Напрасно вы так думаете. А что, Асаи — веселый молодой человек, с которым я пришел сюда, больше не заходил?

— Как же, я его видела, он давно уже в крайней палатке. Но может быть, раз уж так сложилось, лучше его не звать?

— Можно не звать... — сказал Максима.

— Вот хорошо, я так рада... Можно всю ночь поговорить! Отчего вы не пришли раньше! Уже так поздно.

Женщина бросила на него кокетливый взгляд и, изящно держа стакан с пивом, быстро осушила его — далеко не первый. Она сидела с ним рядом, та самая Токико, о которой Максима когда-то думал: «Если б я любил женщину с такой нежной душой, какие чудесные ночи мог бы я проводить!» Он не мог отделаться от мучительной мысли: «Это уже не та Токико». И в то же время его с каждой минутой все сильнее влекло к этой совсем иной, дышащей очарованием зрелости Токико.

— Я часто вспоминала о нашей встрече... а вы, наверно, нет! Вы так ласково отнеслись ко мне, когда я, ничего не зная, ехала в эти грустные места, и я не могу вас считать совсем чужим...

Нагибаясь, чтобы налить ему пива, она придвинулась ближе.

— Скажите...

— Да?

— Скажите, вы сердитесь на меня?

Максима с сильно забившимся сердцем схватил ее за руку.

— Куда вы отсюда отправляетесь? — спросил он.

— О, не спрашивайте! Это жестоко с вашей стороны! Разве я знаю, что со мной будет. Умру в Корее, где-нибудь в глуши, — тонким голосом воскликнула она, склоняясь к нему на колени. Максима чувствовал по ее дыханию, что она пьяна. Он думал об этой женщине, и она вызывала в нем глубокую жалость.

6

Даже в палатке чувствовалась пронизывающая ночная сырость. Толстая парусина кой-где промокла насквозь. На цыновке было постлано двойное одеяло, таким же одеялом укрылись сверху, и все же под утро холод стал пробирать спящих. Когда Максима сдвинул резиновую надувную подушку и перевернулся, зашуршала подложенная под цыновки солома. Вся эта ночь показалась ему странной, как сон. Свечи потухли, сквозь щели занавески у изголовья падал бледный свет заходящей луны.

— Ах, как мне грустно! Что делать? — жалобно сказала Токико. Ее когда-то такое юное и свежее лицо казалось совсем увядшим, обострившимся.

Уже совсем рассвело.

— Что такое? — спросил Максима, поворачиваясь под одеялом; он чувствовал расслабленность во всем теле.

— Мы сегодня утром отправляемся.

— А ведь говорили, что вы здесь пробудете целую неделю?

— Да, но там торопят.

— Там, где это?

— В Т. Надоело, сил нет! Убежать, что ли, — истерически выкрикнула женщина.

— Да, беги! — невольно тихо воскликнул Максима.

— А вы будете со мной?

Она с серьезным лицом подошла к Максиму. Он испугался.

— Ага, вот где укрылись, воробушки!

В палатку с хохотом вошел Асаи в сопровождении женщины.

— Ну, давайте, пропустим по чарке. А что, не поднять ли одну сторону, чтоб было прохладней?

Асаи был в превосходном настроении.

— У нас сегодня много серьезного дела, не до веселья.

— Ладно, куда там торопиться!

— Торопиться нужно. Если каша готова, дайте поесть.

— Все готово, — ответила Токико.

— Каша? Кашу я ем с двух лет. Нет, напрасно мы сюда пришли, — захотел Асаи, выходя из палатки.

— Вы попрежнему работаете в газете? — спросила Токико, когда они опять остались одни.

— Да, вот по делу газеты я и пришел сюда.

— Может быть, и я могла бы поселиться в Хэйдзё? Поступить куда-нибудь на работу, на спокойное место...

— Что ж, это хорошо.

— Я так и сделаю. Сегодня же поговорю с хозяином... — возбужденно воскликнула Токико, но вдруг, задумавшись, упавшим голосом проговорила: — Но где же я там буду жить?..

Макисима прекрасно понимал ее волнение.

— Давайте лучше я вернусь в Хэйдзё и подыщу вам квартиру, а вы пока, что же делать, отправляйтесь в Т. и ждите от меня письма.

— Хорошо. Но только вы напишите как можно скорей, — сказала она жалобно, и лицо ее омрачилось.

Тем временем Макисима позавтракал супом и сырыми яйцами. Маринованные овощи были куплены у корейцев. Позавтракав, Макисима вышел из палатки вместе с Токико.

— Каждый раз встречаемся ненадолго и сейчас же расстаемся... — грустно сказала она, идя следом за Макисимой. Ее слова проникали ему в самое сердце.

Макисима зашел в палатку, где сидел Асаи, все еще собиравшийся пить, поторопил его и вместе с ним спустился с холма. От росы носки и края брюк промокли. Цветы, которые ночью казались белыми, теперь ярко золотились на солнце. Они поднялись на второй холм, за которым начинались копи. Макисима стал прощаться с провожавшей его Токико.

— Тут мы простимся. Так прошу вас, когда вернетесь в Хэйдзё, не забывайте ваше обещание! Ну, будьте здоровы.

— И вы берегите себя. Когда придете в Т., сообщите мне.

— Непременно напишу. Ну, простимся.

У Макисима сжалось сердце. Он молча поклонился.

Понурив голову, закусив край рукава, женщина стала спускаться. Макисима долго смотрел ей вслед.

Макисима и Асаи зашли к той кореянке, у которой жила женщина, обещавшая проводить их к Йосида. Она ждала их. Она передала, что Йосида сейчас занят, и потому посоветовал им обратиться к другому рабочему, куда она может их проводить. Рабочий этот жил в одном из тех барачного типа домов, которые Макисима видел накануне в темноте; при дневном свете все их убожество выступило особенно ярко.

— Здесь, — сказала женщина, заглядывая в одну из дверей, и прямо направилась внутрь. — Вас ждут. Пожалуйста, входите, — добавила она.

Макисима молча вошел за ней.

Дверь вела в комнату в шесть пьновок, часть которой была отгорожена и служила прихожей. Хозяйка, очень похожая на проводившую их женщину, только помоложе, стала несколько растерянно прибираться. Впрочем, прибрала она только раскиданные вокруг пеленки. Тут же рядышком лежали два младенца одного возраста, и когда хозяин уселся, свободного места не осталось. Макисима подумал, что это не людское жилье, а просто коробка.

— Мы вам очень помешали? — с этими словами он скинул обувь и вошел в комнату. Когда он уселся, его ноги оказались за порогом. Хозяйка взяла обоих младенцев и уложила их в какое-то подобие корзины. Они безмятежно спали.

— Грязно у нас, да ничего не поделаешь, везде тут так... Налей-ка поскорей чаю, — сказал хозяин.

— Спасибо, что не погнушались притти, — сказала хозяйка и вышла в кухню.

— Нам посоветовал обратиться к вам Йосида-сан, — заговорил Макисима.

— Да, как же, Йосида-кун говорил мне утром. Спасибо вам. Меня зовут Кавагути, будем знакомы, — поклонился хозяин.

— Что вы, наша работа такая, благодарить тут не за что. Скажите, когда вы сюда приехали?

— В прошлом году, летом.

— Откуда?

— Из Осака. Здешняя компания вербовала там рабочих, ну, я вызвался и поехал. Вы знаете, там ведь была безработица.

— Вот как! Много с вами народу приехало?

— Всего двести пятьдесят шесть человек, впрочем, это только из наших мест, а компания привезла много и из других.

— Шахтеры здесь все корейцы?

— Да, дешево берут, оттого их и нанимают.

— Значит, вы приехали работать по строительству и оборудованию копей?

— Да, по двухлетнему договору. Только, знаете, через полгода все либо разбежались, либо поумирали. Не знаю, осталось ли хоть сто человек из тех, что приехали вначале.

Жена принесла чай.

— Чай скверный, дешевый, — попросту предупредил Кавагути. Хозяйка поставила перед Максима чашечку с грязной крышкой.

— В чем же заключался ваш договор? — возобновил разговор Максима.

— Ну, если перечислять все пункты, конца не будет, — Кавагути взял в руки лежавший рядом разорванный веер. — Да их и не соблюдают. Во-первых, обманули на поденной плате. Платят на пятьдесят сен меньше, чем обещали. А когда мы спросили, почему, — говорят, наш переезд стоил денег, вот они и удерживают с нас, целых два года. Так ведь если два года удерживать по пятьдесят сен в день, выходит, что на одного человека дорога стоила двести пятьдесят иен. Это из Осака сюда! Мы, как услышали, просто ахнули. Бросились в контору, потребовали счета и что же оказалось? Они разложили на всех стоимость переезда туда и обратно двадцати вербовщиков во втором классе. Даже плату гейшам в вечер отправления из Симоносэки, и ту присчитали. Хорошо, а?

Кавагути протянул свою узловатую руку и поднес к губам чашку.

По временам в маленькое окно доносилось свежее дуновение ветра. Каждый раз колыхались старые куртки, штаны и пропахшие мочой детские платица, которыми сплошь были увешаны стены тесной комнатки.

Кавагути отставил чашку и торопливо вытер рот рукой.

— Вот еще послушайте, — сказал он. — Было договорено, что если кто захочет вернуться в Японию, они будут отправлять на свой счет, с тем сюда и ехали. А когда через шесть месяцев товарищи захотели уехать, хозяйка сказала, что не станут платить, раз договор на два года. Ну, это еще куда ни шло, но они заявили, что если

кто уедет раньше, чем через два года, то пусть вернет все расходы на приезд, а не то отберут все, что у него есть... Вот и бегут по ночам... — оборвал он свой рассказ.

— А мы вот и ночью не можем убежать. С двумя грудными младенцами разве убежишь ночью! — встала жена.

— Мне кажется, хуже всего — это заболеть тут, — сказал Максима.

— Да, нам-то еще ничего, но больным совсем худо. Мы в прошлом году приехали примерно в это время, и не прошло месяца, как у пяти-шести человек животы разболелись. Знаете, жара, да и вода плохая. Ну, и пошли, пошли болеть один за другим и помирали в том сарае... Говорят, кровавый понос какой-то.

— Дизентерия. В Корее часто бывает эпидемии.

— Да, да, дизентерия. Еще если жена или ребенок заболеют — туда-сюда, а вот если сам — горе. Ведь хозяйка в тот же день перестают платить.

— Да, я уже об этом слышал.

— Что ж поделаешь! Упрячут больного в тот сарай, а жене и детям не позволяют оставаться дома. А кто останется дома, того не пускают к больным. Говорят, если ходить из дома к больному, можно перенести заразу.

— А куда ж деваться?

— Говорят, живите вместе с больными в сарае. Если их послушаться, вся семья перемрет. И знаете, в самом деле, в одной семье умерло пять человек... вся семья погибла! — Кавагути заметно взволновался. — Ведь если возле тяжело больного будет вполку спать семья, то и больному не станет лучше и семья заразится. Только видите, когда корейцы об этом узнали, стали звать к себе. Корейцы к нам хорошо относятся. Хозяйка хоть японцы, а хуже корейцев. Вот та женщина, что привела вас, она тоже живет в доме у корейца.

— Это те корейцы, которые с вами работают?

— Да. Корейцы, они, знаете, очень добрые, среди них нет таких негодяев, как среди японцев.

— И много народу умерло?

— Ну, как вам сказать... Заболело около сотни, человек двадцать выздоровело.

— Как! А остальные все умерли?

— Ну, да. Теперь в сарае осталось человек тридцать. Остальные все умер-

ли. Да и как не умереть? Врач здесь на копиях один, и тот недавно прибыл. Как в хозяйских семьях кто заболевает, он уж сразу там, а к нашему брату почти и не заглядывает. Сколько народу умирает, ни разу так и не повидав врача до самой смерти!

— Собственно говоря,—сказал Максисима, — я приехал сюда вот почему. К нам в редакцию прислали такое письмо.

Максисима вытащил из кармана смятую открытку.

— А! Я не знаю иероглифов, хоть и стыдно, да неучен, — попросту признался Кавагути, но все-таки потянулся посмотреть открытку. Передавая ему открытку, Максисима спросил:

— А вы не знаете, кто это написал?

Кавагути на минуту задумался.

— Право, не скажу... впрочем, есть тут один бродяга...

— Бродяга? Что за бродяга?

— Он тоже приехал из Осака, а родом он с Запада. Три года учился в средней школе, очень умный.

— Тоже плотник?

— Нет, он по машинам. Работал в арсенале, в военном порту.

— Сколько ему лет?

— Года двадцать три-двадцать четыре.

— Я хотел бы с ним повидаться. Это письмо писал очень смелый человек. Поговорим с ним, посоветуемся; надо добиться от компании, чтобы вам создали сносные условия, а иначе в таких местах нельзя работать.

— Да, если б это устроить, как бы все были довольны...

— А что, сегодня этот человек на работе?

— Да. Он кончает после пяти.

— Так пока пойдёмте, пообедаем. — Максисима посмотрел на часы. — Уже два часа.

Они вышли из дома. Кавагути несколько раз отказывался, но Максисима был очень голоден и почти силой повел его с собой в ту же вчерашнюю столовую, — больше поесть было негде. В столовой они застали Асаи, который пил водку и громко болтал. Они уселись в той же комнате и спросили пива. Максисима, вообще не охотник до выпивки, сейчас же принялся есть, но Асаи, найдя в Кавагути хорошего собутыльника, с новым жаром налег на пиво. Кавагути, хотя и стеснялся, но тоже выпил немало. Тем временем Максисима пытался расспросить его о размерах угледобычи, о стоимости тонны

на месте и с доставкой и тому подобное, но Кавагути ничего не знал.

— Я только работаю, а что к чему — ничего не знаю. Сколько бы угля из копей ни добыли, какая мне от того прибыль?

Между тем подошло время, когда должен был вернуться с работы тот, кого они ждали, и Кавагути пошел за ним.

Вскоре он вернулся. С ним был молодой человек в простом хлопчатобумажном хаори, из-под которого виднелись рукава фуфайки, черные от грязи. Увидев Максисима с приятелем, Кавагути широко улыбнулся.

— Вот тот самый человек, о котором я вам говорил, — сказал он Максисима.

— Очень рад! Вы, наверно, устали, извините за беспокойство, — обратился Максисима к новому знакомому.

— Итиносэ Скэо. Будем знакомы, — ответил тот непринужденно, с заметным провинциальным акцентом.

— Прошу вас, садитесь. Кавагути-сан мне рассказывал о вас.

— Ничего, мне и тут хорошо, — Итиносэ присел на пороге, у настежь распахнутой двери.

— Это вы писали? — сразу же приступил к делу Максисима.

— Нет, не я. Это писал один мой товарищ, Омура.

— Ах, вот как! У вас здесь есть еще такие люди?

— Нет, он не здесь живет. Он служит в магазине в Хэйдзё. На-днях он сюда приезжал, я с ним разговаривал, и он говорил, что как приедет в город, сразу же напишет в газету. Я думаю, он и написал, — быстро ответил Итиносэ. Максисима почувствовал себя несколько обескураженным. Он немного помолчал, не зная, как продолжать разговор.

— Но мы здесь думаем то же, что и он, — заговорил Итиносэ. — Мне сейчас Кавагути-кун говорил о вас, так вот у нас к вам есть просьба: надо бы как следует поговорить с хозяевами. Прямо сил не стало терпеть, верно ведь, Кавагути-кун?

Итиносэ перевел свои глаза с Максисима на Кавагути. Максисима энергично кивнул.

— Нам, холостякам, еще ничего, но у кого жена да дети — жалко смотреть, — сказал Итиносэ с задумчивостью в голосе, совсем не подходившей к его коренастой фигуре. Он опять пе-

ревел взгляд на Максисима. Кавагути молча кивнул.

— Так давайте, Итиносэ-кун, попробуем вместе поговорить с компанией.

— Что ж, прекрасно! Если вы пойдете, то эти молодцы хоть прислушаются. А если мы одни станем разговаривать, так они и ухом не поведут, а, Кавагути-кун? — Он опять посмотрел на Кавагути.

— Пожалуй, — только и сказал Кавагути. Максисима задумался.

— Вы и Кавагути, это хорошо, но если б нашлось еще три-четыре человека, было б еще лучше. Этот, как его, Йосида, как он?

— Йосида? Вы знаете Йосида? — как-то подозрительно спросил Итиносэ.

— Это Йосида-кун направил их ко мне, — пояснил Кавагути.

— Ага. Значит, вы хотите, чтобы он шел? Но ведь есть много других, — пренебрежительно проговорил Итиносэ. — Ладно, сегодня вечером сговоримся, а утром соберемся как будто на работу, а нагрянем в контору. Вот-то лысый управляющий перепугается, — весело захохотал он.

— Великолепно! Значит сегодня вечером сговоримся. Выйдем вместе! — тоже с воодушевлением проговорил Максисима.

— Слушай, сегодня поздно! Когда же ты напишешь статью? Я завтра уйду рано, а то жарко, — недовольно заговорил Асаи.

— Ах, да! Ну, я сейчас напишу. Итиносэ-кун, подождите-ка немножко, — сказал Максисима, доставая из кармана и кладя на столик бумагу. Асаи время от времени предлагал Итиносэ и Кавагути выпить, но Кавагути больше не хотел пить.

— Эту ночь не придется спать, — сказал Итиносэ.

За тридцать минут с небольшим Максисима написал статью в три столбца. Он сделал пометку, чтоб ее разбили на два номера. Затем он написал отдельное письмо молодому сотруднику редакции Яваки. «Яваки-кун, — писал он. — Я решил действовать. Прошу тебя, какие бы ни явились препятствия, всеми силами защищать эту статью. Это для тебя, нового товарища и единомышленника, будет первый опыт служения делу рабочего класса».

— Ну, вот, эту штуку завтра утром возьми с собой. Кажется, будет лошадь, ты сможешь вернуться по посылке. И сейчас же передай Яваки, а

пить будешь потом, — сказал Максисима Асаи. Тот только усмехнулся.

— Извините, что заставил вас ждать. Ну, пойдём. А Итиносэ-кун ужинал?

— Да, я поел.

Итиносэ, который сидел понурившись, вдруг поднял голову. Повидимому, он о чем-то задумался. Когда он повернулся, его грязное, замасленное лицо заблестело. Максисима вдруг стало жалко этого Итиносэ, и вместе с жалостью в нем зарождалась теплая братская любовь. «Голодать, так вместе!» — такое чувство властно подымалось в нем по отношению к человеку, которого он видел в первый раз в жизни. «Странное чувство, — думал он. — Я не хочу пятнать его затасканным именем гуманизма, проповедуемого буржуазными молодыми людьми. Я сам страстно хочу жить, а для того чтоб жить самому, нужно бороться не только своими силами, но объединить силы всех тех, кто находится в таком же положении. Он — это я».

Погруженный в свои мысли, Максисима молчал.

— Ну, пойдём! — сказал Итиносэ, подымаясь. Но Максисима не двигался с места.

— Сегодня мы уже сюда не вернемся, поэтому надо сейчас обсудить требования, которые мы завтра выставим компании. Если мы даже позовем других, все равно надо, — сказал он наконец, глядя на обоих рабочих.

— Верно. А без этого, просто так нагрянуть, ничего не выйдет.

Итиносэ опять сел.

— Ну, так вы оба говорите вкратце условия, а я запишу.

— Вот на что все жалуются, — заговорил Итиносэ, — первое, что в день платят на пятьдесят сен меньше, чем договаривались вначале. Ехали на иену пятьдесят сен, а получаем иену. А многие договаривались всего за иену, так что, когда удерживают пятьдесят сен, им остается пятьдесят сен в день. Стоило ехать в Корею, чтобы получить пятьдесят сен...

— Значит, компания должна выполнять договор. Дальше что?

— Дальше насчет расходов на обратный проезд. Договаривались, что в случае болезни или призыва на военную службу срок договора сокращается и обратный проезд оплачивается, а как приехали, оказалось не так, при отъезде отбирают последнее имущество.

— Хорошо, поставим это вторым пунктом: в случае необходимости отъезда раньше договорного срока проезд оплачивается за счет компании, так?

— Да, иначе очень худо.

— Дальше, вспомоществование в случае болезни?

— Как?

— Чтобы во время болезни рабочего семье оказывалась помощь.

Макисима внимательно посмотрел на обоих рабочих. У обоих, в особенности у Кавагути, был такой вид, как будто это совершенно немыслимая вещь. Со всеми этими фактами они примирились как с чем-то неизбежным, и молча всему подчинялись. Изменить все это они могли только своими собственными силами. А у них был такой вид, как будто это совершенно немыслимая вещь! Макисима пристально смотрел на них и не мог подавить в себе мучительного беспокойства.

— Что ж, так будет прекрасно! — вдруг произнес Кавагути, как будто опомнившись.

— Ничего в этом нет особенного, просто своими руками подберете то, что уронили.

— Правильно, ничего особенного. Самое обыкновенное дело! Просто, чтоб выполняли договор, — сказал Итиноэ.

— Еще что? — спросил Макисима.

— Еще?

— Устройство хорошей больницы, ведь нельзя же лежать в такой нищенской лачуге!

— Верно! Какое важное дело позабыли!

— Больше ничего нет?

— Есть еще разные мелочи, но на первый раз обойдемся этим. А остальное потом.

— Хорошо. Ну, пойдем! — сказал Макисима.

— Если дело выйдет, вот-то все вздохнут свободно, а, Кавагути-кун! — весело сказал Итиноэ. Но Макисима испытывал легкую тревогу.

— Да, если выйдет, в самом деле хорошо будет, — отозвался Кавагути, но Макисима заметил, что в голосе его не хватало уверенности. Сам он чувствовал себя так, как будто двадцать шесть лет страдал под гнетом, и только сейчас душа его очнулась от оцепенения. Он невольно выпрямился, воинственно выпятив грудь.

Ночь была такая же, как накануне. Ступая по мягкой земле, они втроем обходили квартиры рабочих в поисках возможных участников завтрашнего выступления.

Они начали свой обход с посещения Йосида, того рабочего, с которым Макисима познакомился в сарае для больных. Итиноэ принялся горячо его убеждать, Йосида слушал его молча, потом вдруг, подняв голову, сказал:

— Все это совершенно правильно. Я давно уже думал, что так не может продолжаться.

Тогда Итиноэ предложил ему поставить свою подпись на листе с требованиями и завтра вместе со всеми идти в контору. Итиноэ положил перед ним лист. Йосида повертел его в руках и вдруг с огорченным видом произнес:

— Ведь я не умею писать, едва могу подписаться.

Итиноэ предложил подписаться за него. Йосида, наклонив голову, помолчал, потом, взяв в руки лист, как будто про себя, пробормотал:

— Больше пока никого? Кавагути-кун тоже поставил печать? А Итиноэ-кун первый? Это хорошо, все-таки он холостой... А у кого жена да дети...

Он мельком взглянул на Кавагути. Кавагути понурился. Итиноэ тоже молчал. Наступила длительная пауза.

— Чего тут думать, холостой, не холостой, в трудное время надо всем быть вместе! Не ты, так другой. Кавагути-кун говорит, что пойдет, — несколько возбужденно заговорил Итиноэ. Однако Йосида молчал.

— Я еще подумаю, — сказал он по-годя, с подчеркнутой стариковской рассудительностью.

— Не о чем тут думать! Не нужны нам трусы, которые раздумывают, когда все мы страдаем. Раз так, я пойду один.

Вспыльчивый Итиноэ поднялся. Втроем они вышли из тесной комнаты-коробки.

— Я на минутку забегу домой и сейчас же вернусь к вам... Идите пока вперед, — вдруг сказал Кавагути, когда они отошли на несколько шагов. Макисима и Итиноэ приуныли.

Расставшись с Кавагути, они продолжали обход стоявших в ряд домов. Однако даже Итиноэ, так решительно провозгласивший: «Я пойду один!»,

примолк. Максисима грустно было на него смотреть.

Они зашли еще к двум-трем рабочим. Стуком в дверь будили спящих. Все, к кому они заходили, от души благодарили их за хлопоты и жаловались на самоуправство компании. Но в заключение решительно отказывались дать свою подпись, а тем более участвовать в переговорах. Некоторые почтительно их провожали и долго глядели вслед. Максисима и Итиносэ с грустной улыбкой переглянулись при свете дугового фонаря.

— Выходит, это только наша с вами затея. Бросим ни к чему не нужный обход, незачем силой тащить запуганных людей. Решимся и возьмемся за дело вдвоем!

— Правильно! Я с самого начала так думал. Какой толк от трусов! — Итиносэ был страшно взволнован.

— Терпеть такой гнет и все же молчать! — с горечью произнес Максисима.

Разговаривая, они дошли до последних домов. В это время в переулочке между домами послышалось шуршанье, как будто кто-то ступал по соломе. Было два часа ночи. Этот звук в такой час, в месте, где живут одни рабочие, сразу же показался Максисима странным. Он заглянул за угол и при слабом свете далекого дугового фонаря увидел несколько теней, которые в ту же минуту исчезли. Опять послышался шорох. Максисима охватило недоброе предчувствие. Итиносэ, который шел впереди; вдруг остановился и, обернувшись к Максисима, два-три раза помахал ему рукой.

— Что такое? — затаив дыхание, шопотом спросил Максисима.

— Кто-то идет, — так же шопотом ответил Итиносэ. Максисима вздрогнул. «Нападение!» Когда эта мысль отчетливо встала в его сознании, он с тревогой почувствовал, что ему грозит опасность, и в то же время его подмывало узнать, кто собирается на него напасть. Полный мужественной готовности, как бы велика ни была опасность, отразить ее и самому напасть на своих преследователей, Максисима шагнул вперед. В эту минуту Итиносэ быстро сделал знак рукой, обозначающий: «бежим». Максисима оглянулся назад: там в тени высокой кучи бревен, притаилось что-то черное; это, несомненно, были люди, три или четыре человека. «Окружены!» — с ужасом подумал Максисима. Он сейчас же сказал

об этом Итиносэ. Почти отчаявшись, он машинально двинулся было вперед, но Итиносэ поспешно его остановил.

— Берегитесь! — воскликнул он шопотом.

Все это продолжалось одно мгновение. Итиносэ, удерживая стоявшего позади Максисима, схватил подвернувшуюся толстую палку и ринулся за угол. И тотчас же там закипела яростная схватка. Максисима подобрал с земли небольшой черный камень, вероятно кусок угля, кинулся вперед и швырнул его, стараясь только не попасть в Итиносэ. Но тут сбоку кто-то набросился на него, он почувствовал удар, — его хватили палкой в бок. Он с трудом удержался на ногах. Чья-то фигура — повидимому, это был Итиносэ — стремительно метнулась в тень. Максисима мгновенно сообразил, куда нужно бежать, но в это время спереди на него напали вторично. Тень, вынырнувшая справа, швырнула в него чем-то, и Максисима заслонился, опасаясь, что ему переломят шею. Но брошенное пролетело мимо. Максисима со всех ног кинулся бежать в темноту. За ним некоторое время гнались, потом преследователи отстали. Максисима с облегчением перевел дух. Он задыхался, голова у него отчаянно болела, к горлу подступала тошнота. Обессиленный, он упал на траву. Он почти терял сознание...

Понемногу дыхание стало ровней, головная боль утихла. Но правый бок мучительно ныл. Он хотел погладить его, но не мог согнуть руки.

В правом локте и в боку чувствовалась тупая боль. Долго лежал он в зарослях, среди безмолвного ночного поля. Его мучила тревога за Итиносэ. Максисима надеялся, что проворный Итиносэ сумел ускользнуть невредимым, но все же он беспокоился.

Ночная сырость начала пробирать его. Максисима попытался встать. Бок у него заболел, как будто в него вонзили сверло. Превозмогая боль, Максисима поднялся, оглянулся кругом и с трудом зашагал в ту сторону, где, по его расчетам, расположены были дома.

9

На другой день после полудня Максисима и Итиносэ вдвоем, наняв лошадей, поехали в Хэйдзэ. Отдохнув день, Максисима теперь меньше страдал от ушиба в боку. У Итиносэ распухла голень, но он держался бодро, как будто это был совершенный пустяк.

Приехав в номера к Максима, они первым делом приняли ванну, потом поужинали, весело смеясь над своей неудавшейся затеей.

— Очень уж неожиданно вышло, а не то б мы им задали, — несколько раз повторял Итиносэ.

— А кто донес?

— Я думаю, Йосида.

— Йосида? Неужели он способен? Я никак не думал, чтобы среди рабочих нашелся предатель. Ведь это же их кровное дело...

Максима просмотрел газету. Его статья была набрана по его указаниям.

— Вот это приятно, все верно! — сказал Итиносэ, внимательно прочитав статью. — Максима-сан, не следует молчать о вашей ране, надо жаловаться, — добавил он с негодованием.

— Не стану я жаловаться. Я не настолько слаб, чтоб мстить таким способом, — улыбнулся Максима. Итиносэ не мог понять, что он хочет сказать. Он настаивал на своем.

— Я что-то не понимаю. Надо их проучить, чтоб отлегло от души, — сказал он, с досадой комкая газету.

— Я и не собираюсь молчать. Я только сказал, что не настолько малодушен, чтобы мстить, прибегая к помощи начальства.

— А, это другое дело! Как же вы будете действовать?

— Во-первых, буду сражаться через газету, а затем надо вооружиться: безоружным бесполезно сражаться с насилем.

— Здорово! Ну, что ж, вооружимся и зададим им как следует!

— А там пусть хоть убивают!

— Верно, верно! Это здорово.

Утром хозяйка номеров вошла к ним с визитной карточкой. За ней в дверях показался мужчина в японском костюме — знакомый Максима жандарм из полицейского управления.

— Вот вы и вернулись, — сказал он, изображая на лице улыбку. Максима догадывался, в чем дело, но все же спросил:

— Вам что-нибудь нужно?

— Да, так, кое-что, — он бросил пристальный взгляд на Итиносэ. — Этот господин — Итиносэ Скэо? — спросил он Максима

— Да, а в чем дело?

— Я прошу вас пройти со мной на минутку в полицейское управление, — обратился жандарм к Итиносэ.

— Зачем?

— Ничего особенного, просто начальник хотел с вами поговорить.

— Я пойду с вами, — сказал Максима.

— Что вы, не надо!

— Можно мне пойти?

— Гм... С моей стороны возражений нет.

Втроем они пошли в полицейское управление. Когда они пришли, начальник полиции вручил Итиносэ распоряжение: ввиду того, что им допущены действия, нарушающие общественное спокойствие, ему предписывалось покинуть Корею.

Максима прочел приказ с изумлением. «Действия, нарушающие общественное спокойствие...», о чем идет речь? Неужели то, что он беседовал с рабочими о том, как улучшить их положение, «нарушало общественное спокойствие»? И если так, то что же такое это «общественное спокойствие»?

— Что же он сделал, чем нарушил общественное спокойствие? — спросил Максима начальника полиции. Тот недовольно поморщился.

— Я полагаю, что и Итиносэ-кун и вы прекрасно это знаете. Лучше не поднимать разговоров и подчиниться приказу.

Протестовать было все равно, что бить кулаком по занавеске.

До отхода поезда в Фузан оставалось два часа. Максима хотел пойти с Итиносэ в ресторан, чтобы по крайней мере перед расставаньем спокойно пообедать, но Итиносэ не выпускали из полиции. Максима волей-неволей пошел один, заложил за пять иен свои часы и заказал поблизости в кухмистерской бэнто. Когда он вернулся в полицию, Итиносэ мирно спал в комнате для полицейских.

— Вставайте, сейчас принесут еду! Здесь выспитесь — в поезде не заснете.

Максима купил две пачки папирос, оставшиеся деньги он отдал Итиносэ.

— Мне денег не нужно.

— Нет, в поезде понадобятся на мелкие расходы. Хоть вы и едете на казенный счет...

10

Простившись с Итиносэ, Максима отправился в редакцию. Поставив возле себя стакан воды со льдом, он принялся писать статьи о положении на коях, которые собирался помешать в газете несколько дней подряд. Он не

выспался, был взволнован прощанием с Итиносэ и мучительно страдал от жары, и все это придавало его перу остроту и язвительность. Переслав несколько страниц в типографию Яваки, он поднялся, собираясь идти домой. В эту минуту в комнату заглянул управляющий Кавамото.

— Подождите минутку, Макисима-сан! Вы уже уходите? — обратился он к Макисима.

— Если у вас есть дело, я могу подождать.

— Дело вот какое: не зайдете ли вы со мной в ресторан Д.? Там вас ждут.

— В ресторан Д.? Там меня ждут?

— Да.

Ресторан Д. был лучший ресторан в городе. Вдруг Макисима осенила догадка.

— Зачем меня там ждут? По какому делу?

— Вы узнаете, как только мы туда придем.

— Если вы не скажете, о чем речь, я не пойду.

— Послушайте, Макисима-сан, на минутку...

Кавамото позвал его в коридор, где никого не было.

— Видите ли, приехал кое-кто с копией. Хотят непременно с вами поговорить и поговорить. Пойдемте со мной в ресторан!

Макисима предвидел нечто подобное, но, когда он услышал настолько откровенное предложение, он задрожал от гнева. Он готов был ударить Кавамото по лицу за то, что он хладнокровно предлагает ему такие вещи.

— Мне незачем встречаться с этими людьми! А если им угодно меня видеть, скажите, чтоб пришли в редакцию, — сказал он с перекошенным от гнева лицом.

— Никто ведь вас не неволит. Они только хотели поговорить о ваших статьях...

— А почему об этом нельзя говорить в редакционной приемной?

— Ну, если вы так настаиваете...

— А что это за люди?

— Заведующий производством и еще один...

— Так вот, позовите их в редакцию, я тоже хочу их кое о чем спросить.

Макисима оборвал разговор и вернулся в редакцию. Он бешено негодовал на этих людей, так нагло вызывавших его к себе. Если они явятся и станут держаться высокомерно, он го-

тов на месте вступить с ними в бой...

Немного погодя его позвал служитель:

— Кавамото-сан просит вас выйти к нему.

Макисима направился в приемную, расположенную рядом с вестибюлем, с таким чувством, как будто подходил к неприятельскому лагерю. Прямо против входа, на стуле сидел полный мужчина с багровым лицом, в шелковом хаори с вытканными на нем гербами. Рядом с ним стоял другой, тщедушный человечек в легком европейском костюме. Лицом к ним, спиной к двери, сидел Кавамото. В комнате чувствовался приятный запах сигар.

— Извините, что вызвали вас, — сказал Кавамото, изогнувшись всем телом к Макисима.

Макисима молча поклонился.

— Разрешите вас познакомить. Тотиги-сан с копией С. А это Накамура-сан, главный бухгалтер, — сказал Кавамото.

Макисима уселся на стул и пристально разглядывал посетителей, упорно храня молчание. Если бы здесь не было Кавамото, Макисима, может быть, прямо набросился бы на них. Тотиги бросил на него быстрый взгляд и, режливо склоняя свою лысую голову, проговорил:

— Позвольте представиться — Тотиги. Давно уже хотел с вами познакомиться, но, будучи обременен делами...

Бухгалтер Накамура поклонился с улыбкой.

Макисима внимательно смотрел на их склоненные головы и волей-неволей тоже чуть кивнул головой.

— Мы сейчас услышали от Кавамото-сан, что когда вы посетили копи, на вас напали какие-то хулиганы. Полная неожиданность для нас! Мы произведем строгое расследование, а пока примите наши искренние извинения, — проговорил Тотиги очень официальным тоном. Но его напускное спокойствие казалось Макисима нестерпимой наглостью. Его злоба все росла. Он опасался, что не выдержит и выскажет ее посетителям.

— Прошу вас, не поймите нас превратно... У нас и в мыслях не было прибегать к таким трусливым приемам, — сказал Накамура.

— Макисима-сан, я сейчас спрашивал у Тотиги-сан об этом нападении, и Тотиги-сан был чрезвычайно поражен. Он сказал, что по возвращении в копи

произведет строгое расследование, поэтому я думаю, что недоразумение следует считать исчерпанным, — вставил со своей стороны Кавамото.

— Мы произведем строгое расследование, — подтвердил Тотиги.

Единодушные повторения о «строгом расследовании» и злили Макисима и смешили. Он готов был плюнуть им в лицо, настолько противны были ему эти уловки, коварство, наглость и бесстыдство этих буржуа, которые по чьему-то раболепному доносу, потеряв голову, созвали несколько хулиганов и натравили их на незваных посетителей, а теперь, втайне посмеиваясь в кулак, разыгрывали полную невинность.

— Макисима-сан, я думаю, было бы желательно выслушать подробные разъяснения Тотиги-сан относительно заработной платы, которую компания выплачивает рабочим, и помощи больным, — тоном посредника предложил Кавамото.

Тотиги сделал глазами знак бухгалтеру Накамура, и тот вынул из объемистого портфеля несколько папок с документами, развернул одну из них и стал оглашать суммы, выплаченные в счет заработной платы и израсходованные на помощь больным. Каждый раз, когда он переворачивал страницу, на пальце у него поблескивало платиновое кольцо. Тотиги смотрел на него сбоку, улыбался и поглядывал на Макисима, как бы говоря: «Вы видите, все обстоят прекрасно!» Макисима потерял терпение. Он встал со стула, показывая, что отвергает всякие их объяснения.

— Мне незачем все это слышать. Вы платите рабочим постольку, поскольку нельзя пользоваться их трудом даром. А помощь больным — это, должно быть, расходы на постройку той нищенской хибарки, что стоит среди поля? — осведомился он иронически.

— Как? — почти с испугом переспросил стриженный ежиком круглолицый Накамура.

— Нищенская хибарка? Но, Макисима-сан, это только временно, пока не выбрали место для постройки, сейчас как раз идут приготовления, — сказал Тотиги.

— Я не говорю о будущем. Человек живет в настоящем, — сухо отрезал Макисима. — Кавамото-сан, мне некогда. — С этими словами он направился к двери.

— Подождите, подождите минут

ку... Извините, мы хотели пригласить вас на ужин...

— Не могу, мне нездоровится.

Макисима резко повернулся и вышел.

Усталый, он задумчиво шагал по улице, вдыхая легкую прохладу летнего вечера. Его нервное напряжение вдруг как-то разом ослабло, и в сердце, как дождь осенью, просочилась глубокая печаль. Горделивую мысль: «Я прав, что так поступаю», заглушало острое чувство тоски и отчужденности. Он впервые понял одиночество тех, кто отворачивается от обычного порядка вещей. Но он твердо решил до конца идти по единственно правому пути, какие бы нападки, какие бы соблазны его ни ждали. Да, ему хотелось ходить к гейшам, хотелось иметь деньги, хотелось хорошо одеваться, хотелось покупать книги. Но всему противостоял дух возмущения, выросший в нем за двадцать с лишним лет несправедливых лишений, и ненависть его к угнетателям. Это-то и давало ему реальное ощущение своей живой силы. «Когда я потеряю это ощущение, это будет значить, что я сдался!» — думал Макисима.

Он незаметно вышел на берег Дэдоган. Стоя в тени ив, поникших от дневной жары, он рассеянно смотрел на воду. Откуда-то с гор доносился печальный вечерний звон колокола христианской церкви. Ветер трепал темные паруса джонок. Макисима, как во сне, побрел к берегу, затянутому легким вечерним туманом.

На другой день он с раннего утра пришел в редакцию и горячо взялся за кисть. Никогда еще за всю свою журналистскую карьеру, он не писал таких страстных статей. Случившееся накануне вызвало в нем новый подъем. Жажда борьбы росла. Он хотел нанести врагу смертельный удар.

11

Макисима сражался в газете несколько дней подряд. Он писал без отдыха, страдая от все усиливающейся палящей летней жары. Он предчувствовал, что преследования налетят на него ураганом. На душе у него было невесело.

Однажды утром, когда он завтракал, ему позвонили по телефону из редакции.

— Приходите сейчас же... произошла неприятность.

Звонил номинальный издатель Йосии, правая рука Ханэда. У Максисима забилось сердце. Он сейчас же пошел в редакцию. Перед входом стояли две повозки, запряженные волами. Внутри царил суматоха. Максисима не мог понять, что случилось. Йосии, звонивший ему, был бледен.

— Слушайте, произошло чорт знает что...

Он задыхался.

— Что такое? — встревожился Максисима.

— Владельцы копей в С. подали жалобу на подрыв доверия к компании, а сверх того вчинили иск в возмещение убытка в сто тысяч иен, и судебный исполнитель наложил арест на машины и шрифты... — проговорил Йосии трясушимися бледными губами.

— Вот так история! — воскликнул Максисима. Но сердце у него болезненно сжалось. — Судебный исполнитель наверху?

— Да.

Максисима поднялся во второй этаж. Несколько человек, похожих на черно-рабочих, швыряли как попало шрифты из наборных касс в рогожные мешки.

— Пстойте! Что вы делаете со шрифтами! — накинулся на них Максисима. Они остановились. Но большая часть уже была в беспорядке закидана в мешки. Тут же рядом стоял молодой юрист, недавно прибывший в Корею.

— Слушайте, вы знаете, что теперь шрифты будут совершенно непригодны к употреблению? — резко спросил Максисима.

Юрист не ответил.

— Вряд ли вы этого не знаете. По чьему же наущению вы, прекрасно это зная, допустили такие действия? На какой предмет закон разрешает временное наложение ареста на имущество? На предмет обеспечения сохранности имущества, это вы, как юрист, вероятно, знаете? — спросил он иронически. — Когда шрифты свалены в кучу, они теряют всякую цену, а если они теряют цену, какой смысл налагать арест? Это значит не хранить имущество, а умышленно вредить производству!

— Что такое, что такое?

Подожел судебный исполнитель. Максисима заметил у него на поясе револьвер. «Ого!» — подумал он. Из первого этажа донеслись громкие голоса, и он поспешил вниз.

Рабочие, столпившись у типографии, не давали судебному исполнителю ос-

тановить работу. Ими руководил Яваки, он кричал, что надо успеть выпустить экстренный выпуск.

— Максисима-сан, где вы были? Я вас все время ищу! Посылал к вам домой — говорят, вы уже ушли, — взволнованно воскликнул он. На глазах у него сверкали слезы. — Хоть бы экстренный выпуск напечатать! Я уже написал текст, как раз хочу спускать. Просмотрите и вы.

— Не надо, раз вы сами написали, будет хорошо. Действуйте. — У Максисима тоже глаза были полны слез. — Но можно ли будет пустить машины?

— Ничего, справимся!

— Долой их! — раздались крики из толпы рабочих.

У Максисима бешено заколотилось сердце. Увидев, что человек пятнадцать рабочих с налитыми кровью глазами мечутся вокруг машин, он вскочил на возвышение и крикнул:

— Держитесь крепко!

Опять поднялся общий шум. В эту минуту чей-то спокойный голос окликнул его:

— Максисима-кун, на минутку...

Максисима быстро оглянулся, это оказался знавший его в лицо жандарм из полицейского управления.

— Что такое? — крикнул в ответ Максисима.

— Пожалуйста, пройдите со мной на минутку.

— Куда?

— Когда выйдем, я вам скажу.

Максисима волей-неволей пришлось последовать за жандармом. За спиной его раздавались громкие крики.

ГЛАВА IV

1

В прокуратуре Максисима просидел до вечера. На основании предъявленного иска он был отдан под суд и препровожден в тюрьму.

Тюрьма находилась на расстоянии 14—15 кварталов от прокуратуры. С обер-прокурором — видным мужчиной с черными усами и двумя толстыми золотыми нашивками на рукаве мундира — у него произошло яростное столкновение; он не успел еще остыть от гнева, как полицейский агент повел его в тюрьму.

Был ранний вечер, но за городом стояла глубокая тишина, как среди ночи. Дорога стала влажной от густой вечерней росы, кругом в полях квака-

ли лягушки. Внизу, за пологим склоном, при слабом свете высокого электрического фонаря виднелась длинная, внушительная кирпичная ограда.

В темноте здание тюрьмы походило на распростершегося огромного серого зверя. Очнувшись от задумчивости, Максима посмотрел на нее и удивился: «Уже пришли?»

Со скрипом открылась калитка. Максима впереди полицейского агента вошел внутрь. В тюрьме стояла тишина, точно в пропахшем гнилью болоте. У дверки, похожей на вход в подвальное помещение, начальник караула в мундире с обычным золотым галуном спросил место и год его рождения, последний адрес, занятие и состав преступления. На этом первый допрос окончился.

— Ступайте сюда! — резко крикнул ему тюремный смотритель. Услыхав его голос, Максима подумал: «Вот я и в тюрьме!» Он последовал за смотрителем.

Когда они прошли по коридору шагов пятнадцать, в нос ему ударило странное зловоние, как будто от паленой прелой ваты. Затем он почувствовал острый, застарелый запах пота. С потолка падал тусклый свет пяти-свечных лампочек. В глубокой тишине громко звякала шапка смотрителя. От жары спирало дыхание; казалось, стены были сложены из раскаленных камней. На лбу выступал липкий пот и густыми каплями стекал вдоль носа. «Когда говорят, что в Корее летом по ночам прохладно, очевидно, исключают тюрьму», — подумал Максима.

В помещении, к которому они подошли, свет горел ярче.

— Здесь надо раздеться, — сказал сопровождавший его смотритель. На бетонном полу была постлана циновка. Максима стал расстегивать пуговицы своего европейского костюма. На белую рубашку лег элегантный голубой галстук. Максима поднял брошенную к его ногам выцветшую синюю одежду подследственного арестанта. Тут он понял, что зловоние старой прелой ваты, которое он почувствовал при входе в коридор, исходило от этой одежды. Он накинул кимоно с узкими рукавами на голое тело. На бетонный пол упала его бледная тень. Он осмотрел свою жалкую фигуру арестанта. «Вот куда я в конце концов попал, — подумал он. — И это не так уж странно. Такие люди, как я, в современном обществе обычно претер-

певают именно такую судьбу». Максима казался себе жалким, как отставший бегун, осыпaeмый бранью, насмешками и щелчками толпы. «А, этот нищий корреспондент в конце концов угодил в тюрьму? Прекрасно! Так всегда бывает с теми, кто пишет о людях дурно. Превосходный пример для других».

— Теперь туда, — сказал смотритель. Максима прошел еще несколько шагов, чувствуя себя так, как будто его кто-то толкает в спину. Тут с одной стороны с оглушительным шумом открылась дверь в помещение, которое Максима принял за кладовую. — Ну, вот, — сказал смотритель. Инстинктивным движением Максима переступил порог. За спиной у него загремела захлопнувшаяся дверь.

В маленькой камере стоял еще более острый запах прелой ваты, смешанный с вонью параша, запахом человеческой кожи и дыхания и еще каким-то неопределенным странным зловонием, свойственным только тюрьме.

Когда-то в Токио, бродя по улицам, Максима увидел в одной витрине, как шевелятся змеи, сплетая в клубок свои отвратительные тела. Эта картина сразу же вспомнилась ему, когда он смотрел, как валяются — нельзя было сказать: лежат — в этой тесной камерке полуголые из-за жары люди. От жары и зловония у него захватило дух. Эти люди здесь не спали, но и не бодрствовали. Камера была величиной в три циновки. Однако даже поверхностный взгляд позволял заключить, что в ней помещалось больше десяти человек. Максима, очутившийся в куче сальных и потных человеческих тел, не мог ступить ни шагу дальше. Как во время приступа малярии, сознание у него помутилось, и все поплыло перед глазами.

2

Огромным напряжением воли Максима поборол начинавшееся беспамятство. Несколько мгновений он постоял неподвижно, сдерживая дыхание, и понемногу дурнота стала проходить. Вместе с тем он вдруг ощутил томительную усталость, настолько сильную, что он готов был лечь даже здесь. Сказывалась изнуряющая жара и нервное напряжение. В эту минуту совсем рядом с ним мужчина, спавший в белом летнем кимоно, с чем-то вроде полотенца вокруг шеи, поднял голову, с досадой сдернул с шеи полотенце и

торопливо вытер пот. Максима сразу увидел, что это японец. Но из-за тусклого света он не мог как следует рассмотреть его лицо; только когда тот страдальчески повернул голову, прямо подставив лицо под свет, он увидел его яснее и содрогнулся: это было лицо прокаженного. Максима в ужасе перевел взгляд на его руки, руки тоже были вспухшие, какого-то странного цвета, и на коже проступала влага, не похожая на пот. Кое-где кожа была содрана, и обнажилось красное мясо. Максима казалось, что до него доходит запах разлагающегося мяса. Его затошнило. Он невольно зажал нос. Он уже не в силах был заговорить с этим человеком. При мысли, что проказа заразительна, мороз пробежал у него по коже. «А уйти куда!» — сейчас же встала другая мысль, и ему захотелось громко кричать.

Но человек, внушивший ему такой ужас, не подозревая об этом, еще раз спокойно вытер своей вспухшей рукой пот с шеи и лица. Потом, взяв лежавшую в стороне метелку, он ткнул несколько раз лежавших перед ним корейцев.

— Эй, вы, вставайте! — крикнул он.

Корейцы испуганно подняли головы.

— Что это вы? — с недоумением спросил его Максима.

— Ничего, они мешают вам лечь, — ответил тот. — Забывайтесь подалше в угол, вы! — крикнул он опять. Корейцы что-то проворчали, но послушно подвинулись в угол.

— Ничего, не надо, я вряд ли смогу сегодня спать, — сказал Максима. Но все-таки, обрадовавшись, что образовалось пустое место, — если можно было назвать так узкое пространство между двумя телами, — он устало опустился на пол, согнул спину и скрестил ноги.

— Вот так хорошо, — сказал он со вздохом. Тело его давила тяжелая усталость, как будто на спине лежала каменная ступка. «Всему конец...» — казалось Максима. Прокаженный, лежащий с ним рядом, забывшиеся в угол корейцы, мучительная, точно в адском котле, жара, все это из-за усталости отходило куда-то вдаль. К счастью, в два-три часа ночи из маленького окошка стал долетать освежающий, как вода, ветерок. Прислонившись к стене камеры, Максима погружился в глубокий, тяжелый сон.

3

Утром встали рано. Так как колокол звонил в самое прохладное время суток, некоторые корейцы еще крепко спали. У всех были недовольные заспанные лица. У Максима голова казалась совсем пустой, а тело ныло, как после побоев. Ему все еще казалось, что он видит тяжелый сон. Когда ему сказали, что параша стоит на полу тут же, где все сидят, вся его брезгливость возмутилась. В нос бил сильный запах аммиака. Он хотел умыться, но ведро было пусто: всю воду до капли выпили за ночь, и ему пришлось просто потереть лицо руками.

Когда они встали, пришел на переключку смотритель. Держа в руках большую регистрационную книгу, он громко выкрикивал номера, обозначенные у арестантов на воротнике. Тот, чей номер выкликал, отвечал «есть» и наклонял голову. Максима прозевал свой номер.

— Эй, 3502-й! Что ж ты не отвечаешь? — сердито крикнул смотритель и покосился на Максима. Взглянув на свой воротник, Максима увидел на белом полотне жирные цифры «3502». Его вдруг охватило странное чувство: «Я стал чем-то вроде ручного багажа».

Сейчас же после переключки в продолговатом окошечке двери показался кореец в красной одежде осужденного и что-то спросил по-корейски. Максима не понял. — Что он говорит? — спросил он у прокаженного. — Он спрашивает, на сколько человек давать еду, — ответил тот. Утром кожа у него оказалась еще более воспаленной. Максима жутко было стоять с ним рядом. Однако, постепенно присматриваясь к нему, Максима нашел, что он несколько отличается от настоящих прокаженных, тех прокаженных с облезлыми бровями и изъязвленными руками и ногами, которые в праздничные дни рассаживаются вдоль людных дорог. Прокаженные двигаются тяжело, вяло, тогда как этот человек, хоть и казался очень измученным, но говорил с легкостью. В тех местах, где кожа не была изъедена, она казалась гладкой, как шелк. Зловоние, которое Максима чувствовал ночью, утром тоже стало неощутимым. Таким образом, хорошо разглядев его при свете, Максима решил, что ошибся, приняв его за прокаженного. Он предположил, что кожа у него воспалена от чесотки. По-

ка он об этом думал, тот завернул рукав кимоно и сунул руку прямо в лицо Максима. Максима снова стало не по себе.

— Видите, что делается с руками и с лицом. Сил нет, — сказал тот.

— Отчего это у вас? — поморщился Максима.

— Клобы заели. Ужас, а?

— Как, это от клопов? — изумился Максима.

— Ну да! А вас ночью не кусали? Посмотрите, наверно тоже вспухло.

Максима с изумлением завернул рукав: действительно, вся его рука от плеча до кисти была усыпана красными пятнышками. Он вздрогнул. Он смотрел на свою руку широко раскрытыми глазами.

— Ужасно! А я-то все думал, что с вами такое, — сказал Максима, не решаясь признаться, что подозревал у него проказу.

— Да, кто не знает, подумает — прокаженный, — сказал тот, как бы отвечая на мысли Максима.

Он рассказал, что его зовут Орита, ему двадцать четыре года. Он служил приказчиком в ювелирной лавке и был арестован в текущем году за растрату. Хозяин взял назад свою жалобу, но полиция все же отдала его под суд и сейчас же препроводила в прокуратуру.

— Я вас хорошо знаю. Вы ведь Максима-сан? — сказал он.

— Откуда вы меня знаете? Я вас не помню, — удивился Максима.

— Вы часто заходили к нам в магазин менять стекла в очках.

В это время в маленькое отверстие внизу двери одну за другой стали вдвигать алюминиевые миски, на дне которых лежали липкие зеленоватые лепешки. Это был завтрак. Когда тринадцать мисок были просунуты в камеру, из-за двери раздался странный окрик: «Эй!», и в отверстии показался какой-то ключ. Тогда один из корейцев присел на корточки у двери и выставил обе руки к самому окошечку. Удивленный Максима посмотрел на его руки и увидел на запястьях блестящие кандалы. Он вздрогнул от ужаса. Он живо ощутил ту жуть тюремной жизни, о которой имел представление только из когда-то прочитанных романов.

— Отчего это у него? — сейчас же спросил он Орита.

— Вы про этого? Он смертник.... И в первой инстанции и во второй при-

судили к смертной казни, сейчас он подал на кассацию. Только вряд ли поможет, — спокойно объяснил Орита.

Максима со смешанным чувством любопытства и странной тревоги не сводил глаз с человека в кандалах. Невидимый за дверью смотритель со звоном отомкнул кандалы на одной из его протянутых рук. Стальное кольцо повисло на запястье другой руки, и кореец отошел от двери.

— Когда он ест, ему вот так снимают, — пояснил Орита.

Максима внимательно рассматривал этого корейца, на которого он до сих пор не обращал внимания. Когда одна рука его получила свободу движений, кореец с довольным видом взял лежащие в миске хаси. На груди у него была табличка с цифрой «28».

— Пан... — сказал за дверью смотритель. Все разом поклонились и взялись за чашки. Максима не понял, что значит «пан», и Орита тоже не смог ответить на его вопрос. Позже, когда он попал в отделение осужденных, Максима узнал, что это сокращенное слово «киппан» (еда). Корейцам давали гаолян и бобы, но японцы ели пшено пополам с рисом, а в грязно-зеленом супе попадались крошечные кусочки капусты. На закуску была только старая соленая редька.

— Вы в первый раз, пожалуй, не сможете есть, — сказал Орита.

— Ничего. Я со вчерашнего утра ничего не ел, сегодня я что угодно съем.

С этими словами он хлебнул похоньки на грязную воду суп.

— Ох, до чего пересолено, — воскликнул он, но все-таки суп не показался ему окончательно несъедобным. Приятно было заедать солоноватую горечь кашей. Он съел все дочиста.

— Сегодня опять будет жара! — со вздохом проговорил Орита, глядя в высокое оконце, за решеткой которого синело безоблачно-ясное небо. Стараясь пересилить острую боль под веками, Максима тоже выглянул из-за спины Орита. В окошко виднелся крошечный клочок неба. Внизу взгляд упирался во внушительную кирпичную стену, слева — в выступ крыши; вот и все, что можно было увидеть.

Орита рассказал ему, что сидит в камере уже шестьдесят дней. Шестьдесят дней мучиться в такой жаре! Максима боялся даже представить себе это. Он опять устремил глаза в окно. За окном было только небо и крыши,

но Максима смотрел на все с глубокой любовью: через это маленькое оконце с железной решеткой протягивалась единственная нить, связывавшая его с обществом, с проклятым обществом! И он в задумчивости не сводил жадных глаз с клочка неба...

4

Орита, который провел шестьдесят дней в обществе одиннадцати корейцев, почти не имея случая сказать слова на родном языке, уцепился за нового человека и охотно с ним разговаривал. Он с жадностью расспрашивал Максима обо всем, что произошло на свете со времен его ареста, и с удовольствием слушал его рассказы.

— Наконец-то сегодня поговорил в свое удовольствие после шестидесяти дней молчания! — воскликнул Орита сияя. Максима в пылу разговора почти забыл, что он в тюрьме, и заговорил так громко, что получил замечание от проходившего мимо камеры смотрителя. Но по мере того как время приближалось к полудню и жара становилась все сильнее, у одного пропадала охота рассказывать, а у другого слушать. Сначала они стирали пот, каплями проступавший на лбу, но потом махнули рукой, предоставив ему течь по лицу. Одежда, промокшая от пота, прилипла к телу. За стенами нещадно палило солнце. Не чувствовалось ни малейшего дуновения ветра. Крошечное окошко под самым потолком было прорезано только для вида, так что, в сущности, они помещались в плотно закрытой кастрюле. И в этой кастрюле тринадцать человек, упираясь друг в друга коленями, дышали в лицо соседям горячим дыханием. Одной температуры их тел достаточно было, чтобы в такой тесноте создать невыносимую духоту, а небо вдобавок еще посылало им солнечное тепло — жару в сто градусов по Фаренгейту. Люди, извиваясь, как выкопанные из земли черви, то вытягивались, то обесиленно никли. У одних голова свешивалась на грудь и изо рта тянулись нити слюны. Другие застыли, как в беспомощности, широко раскрыв невидящие глаза. Третьи тяжело дышали, разевая рот, как собака, задыхающаяся от жары. Все сидели, в изнеможении прислоняясь друг к другу, опираясь друг на друга, и на лицах у всех застыло одно и то же болезненное выражение высшей физической муки.

Внезапно все сразу вскочили, как будто подброшенные пружиной. Максима испугался, недоумевая, что случилось. Это принесли утреннюю воду. В эту палящую жару тринадцать человек получали на целый день одно ведро воды, вместимостью около шести литров. Максима остолбенело смотрел на поднимающую суматоху. Воду пили с громким бульканьем, набирая ее из ведерка коричневым деревянным ковшиком. Из-за первой кружки поднялась перебранка, но со второй все успокоилось. Орита пил большими глотками, с видом человека, имеющего право первенства. Один кореец, который сам еще не пил, пристально на него смотрел. Максима обратил на него внимание. Присмотревшись, он узнал в нем того корейца, которого Орита в ответ на его вопрос назвал смертником.

— Отчего этот старик сидит, молчит и не пьет? — спросил он Орита.

— А он немного не в своем уме. Он всегда так. И так противно на вас уставится — неприятный человек, — сказал Орита, жадно проглотив воду.

Слова Орита вызвали у Максима чувство неприязни к нему. «Вероятно, они смотрят на нас как на угнетателей их нации. Вот в чем причина их отвращения», — подумал он невольно. Если б он мог свободно говорить по-корейски, он бы сказал: «Разве нас не мучают здесь наравне с вами? Зачем же вы смотрите на нас таким странным взглядом? Братья...» Думая так, Максима молча смотрел в лицо этого корейца, и ему казалось, что его дикий, злобный взгляд, как острым мечом, касается больного места. Ему вдруг захотелось, чтобы эти глаза смотрели на него с другим выражением. Он не чувствовал того беспокойства, какое испытывал при первом взгляде на корейца. Максима захотелось что-нибудь ему сказать. «Как бы это ему ни было неприятно, я с ним поговорю», — подумал он. Но все усиливающаяся жара скоро отняла у него всякую способность мыслить.

5

После полудня солнце стало светить прямо в окно. Утром лучи дьявольского светила падали на противоположную стену. Но часов с двух дня проклятый дьявол стал просовывать свой красный язык в маленькое оконце, на

которое взирали с тоской тринадцать обитателей камеры, и бросать лучи, похожие на льющееся из горна расплавленное железо. Полуденное солнце накаляло черепицы крыши и сухую землю. Запах от нагретых стен становился все сильнее. Люди хмурились, как в темноте от яркого света фонаря. Им казалось, что вся камера пылает невидимым огнем. Никто не произносил ни слова. Их неподвижные фигуры напоминали мучеников, истязующих свое тело.

Перед ужином Максима получил передачу — два легких белых кимоно, зубная щетка, полотенце, туалетная бумага, коробка с сытной, питательной едой и книги. На передаче стояло имя матери. Когда Максима увидал имя матери, он даже не заплакал, — его горе было сильнее слез. Он скинул мокрую от пота арестантскую одежду и переоделся в пахнущее камфарой легкое белое кимоно. Это было очень приятно. Он крепко вытер себе лицо свежим полотенцем — до сих пор полотенца у него не было — и сел.

Когда горячие лучи стали уступать место тени, принесли ужин. Все взяли хаши и принялись за еду. Максима первый раз с той минуты, как попал в тюрьму, ел не тюремную пищу. Все приготовила мать собственными руками. Но у Максима сжималось сердце, и ему не хотелось есть. И утром и днем он без особого отвращения ел тюремную пшеничную кашу, а сверкающий белый рис и аппетитное мясо не шли ему в горло. Он съел треть, а остальное дал корейцам, которые с жадностью на него смотрели. Ему хотелось дать все корейцу, приговоренному к смерти, он хотел было предложить ему кашу, но не решился. Тот все время молчал и изредка делал жест, который можно было принять за выражение своеобразной антипатии. Это-то и сдерживало намерение Максима. Он был убежден, что во всяком современном обществе большинство преступлений возникает в силу недостатков общественного устройства, и не чувствовал злобы к преступнику. В сердце у него жила только боль за страдания человеческой души, поставленной лицом к лицу со смертью. И его беспокоила и мучила невозможность дать понять свое настоящее отношение человеку, который, очевидно, питал к нему национальную ненависть, ненависть человека угнетенной нации к нации поработителей.

Корейцы все голодали. На воле они ели много, съедали по нескольку доверху полных мисок гороха. Того, что им давали в тюрьме, им, конечно, не хватало. Все корейцы жаловались, что голодают. Иногда им удавалось плутовством выманить лишнюю порцию, тогда они делили ее между собой, причем больше всего давали молодому корейцу, который особенно жаловался на голод, затем смертнику, а остальное делили на крошечные части, которые радостно съедали.

«В таких условиях люди живут дружно. Потому что нет ни борьбы, ни преступлений, все едят одно и то же, одеваются в одно и то же, живут в одном и том же месте... И нехватает только одного — свободы...» — с грустью думал Максима.

— Здесь самые разные люди удивительно сближаются, — высказал он свои мысли Орита.

— О, да, все удивительно дружелюбны, даже корейцы. А ведь это убийцы и грабители. Непонятная вещь — человек! — сказал Орита.

— Ничего непонятного нет. В нашем обществе к преступлению вынуждают заботы о нище, одежде, крове, отсутствии средств к жизни. А от природы человек именно таков, как вы говорите.

— Может быть. Хотя я, например, совершил преступление не потому, что особенно нуждался в пище, одежде и крове... Правда, я не грабил и не убивал, но все же...

— Это вам так кажется. Но если хорошенько подумать, все сводится к тому же. Вы растравили деньги магазина на гейш? Но кто такие гейши? Ведь женщины становятся гейшами большей частью из нужды. Если бы они могли жить в достатке, то не шли бы в гейши.

— Да, пожалуй.

— То же и с вами. Вот вы служите в чужом магазине, и, хотя вам уже двадцать четыре или двадцать пять лет, до сих пор не женаты, и поэтому вам хочется ходить развлекаться к молодым женщинам. А вашего скудного жалованья на женщин не хватает... вот и готова история — расхищение доверенного по службе имущества. Если бы жизнь была устроена так, что человек мог бы жить самостоятельно, и, полюбив женщину, сделать ее своей женой, неужели нашлись бы люди, которые пошли бы на такие проделки, рискуя в эту жару очутиться в тюрьме?

— Вы совершенно правы!

— Что ж, значит в конечном счете все и сводится к пище, одежде и крову.

— В таком смысле, пожалуй, да.

— Не в таком смысле, а по существу это так. И ваша подруга-гейша и вы сами — жертвы наших условий, и мотивы вашего преступления — те же, что во всяком грабеже и разбое, только с виду приличней и срок наказания короче, вот и вся разница.

— Ну, вас не переспоришь, — засмеялся Орита. — Если хорошенько подумать, пожалуй, вы правы...

6

Под потолком уныло торчала пяти-свечная лампочка. Желтые, истомленные, вялые, потерявшие всякий след энергии лица заключенных блестели от пота. В камере было, как на дне котла. Стоял тот час, когда на воздухе или в комнате, открытой для ветра, в полную противоположность дневному зною, наступает освежающая прохлада. Но в наглухо закупоренной камере людям были недоступны милости природы, им доставались только ее проклятия.

Прозвонил колокол ко сну. Звук отрывистый, хриплый. Услышав его, корейцы по-детски обрадовались: лечь — это была единственная их радость. В течение тринадцати часов под наблюдением смотрителя, непрерывно ходящего взад и вперед по коридору, они сидели, скрестив ноги, на циновке, постланной поверх дощатого пола, в камере, до того тесной, что нельзя было пошевелиться. Стоило задремать сидя, раздавался окрик. Вытянешь ноги — окрик. Прислонишься к стене — окрик. Иногда смотритель открывал дверь, и кому-нибудь доставался удар по голове. Или пинок ногой. Так они сидели с раннего утра до вечера, как будто преследуемые злым духом. А по звуку спасительного колокола, избавившись от глаз смотрителя, они могли лечь. Неудивительно, что унылый звон приводил их в бурную радость.

Изо всех камер внезапно послышался стук, как будто чем-то колотили по доскам пола. Недоуменно сворачивая нечто вроде коврика, сплетенного из стеблей гаоляна и именовавшегося подушкой, Макисима увидел, что корейцы, рядом с ним занимавшиеся тем же, поставили свои подушки торчком и ста-

ли ударять ими об пол. И тогда из промежутков между стеблями кучей, как горох, посыпались клопы и поползли по циновке. Корейцы преспокойно давили их ладонью. Раздавленные клопы прилипали к циновке. Тогда один из корейцев взял лежавшую в углу тряпку и стер их. Макисима понял, что когда днем он видел налипший на циновку, похожий на мармелад, рыжевато-коричневый клей, это были раздавленные клопы. Он испуганно постучал своей подушкой, оттуда градом посыпались клопы. Дрожь пробежала у него по телу.

— Надо постучать покрепче. А впрочем, сколько ни стучи, сейчас же забегутся опять, — сказал Орита.

Корейцы разделись догола. Орита обернул себе голову и шею полотенцем, как капюшоном, оставив открытыми только распухшие глаза и рот.

Тюфяков, разумеется, не было. Растягивались вповалку на циновке. Впрочем, рады были бы растянуться, да не выходило. В самом деле, на пространстве всего в три циновки¹ должно было улеечься тринадцать человек. Ложились семь человек головой в одну сторону, шесть — в другую, через одного, как сардины в консервной банке. При этом так тесно прижимались плечом к плечу, что, если бы вытянуть ноги во всю длину, пришлось бы положить их на плечи тому, кто лежит напротив. И, чтобы не класть ноги друг на друга, они поворачивались на бок и сгибали колени, но как-то по-особенному поднимая их вверх. В эту жару приходилось спать почти в акробатической позе.

Макисима улегся, как и все. У него нехватало духу ни укутать голову полотенцем, как Орита, ни раздеться догола, как корейцы, впрочем, корейцы обычно и в ондоле спали голые. Макисима досталось место у стены, так что сосед имелся у него только с одной стороны. Кореец, расположившийся рядом с ним, все время чесался. Все корейцы были больны чесоткой. На руках и ногах у них кожа побелела, набухла, и из нее брызгал гной с кровью. По-корейски это называлось «тюремная чесотка». «В кимоно я, пожалуй, не так скоро заражусь», — с такой мыслью Макисима лег, — ничего другого ему не оставалось. Для брезгливости он слишком устал. Не выпуская из рук полотенца, он стирал пот, струившийся

¹ То есть немного меньше 5 кв. м.

по лицу и груди. Когда он вытянул ноги, они уперлись подмышку лежавшему напротив. Ногам стало жарко, как будто он сунул их в грелку. Но благодаря тому, что он лежал у стены (это место указал ему Орита, и в тесноте камеры совесть не помешала ему воспользоваться этой привилегией японца) и мог хотя бы вытянуть ноги, он готов был примириться с этой грелкой из человеческого тела. Кореец, спавший рядом, крепко прижался спиной к его груди. От стены, которая, нагревшись за целый день, еще не остыла, шла такая же теплота, как от тела корейца. Кимоно его насквозь промокло. Цыновка стала влажной и липла к телу. Кореец тяжело зашевелился, и когда он повернулся, в лицо Максима пахнуло горячее зловонное дыхание. Тут с шеи вниз по плечу что-то поползло. Укусило. Чувствуя, что сходит с ума, Максима вскочил. Он сорвал с себя кимоно, поднес к свету, впился глазами: во всех швах цепочками сидели клопы. Максима поднял глаза к потолку, и вздох вырвался у него из груди.

...Он видел тяжелый сон. То морщинистое лицо деда, то мать с красными, распухшими от слез глазами... Потом Токико, совсем постаревшая, превратилась в его мать... и вдруг громадный слон, которого он когда-то видел в зоологическом саду, поставил ему на грудь ногу, похожую на большую бочку. Задыхаясь от тяжести, он заметался и проснулся. Действительно, чья-то нога тяжело легла ему на грудь. Максима сейчас же стряхнул ее с себя. От инстинктивного гнева, который вызвала в нем тяжесть этой ноги, он толкнул ее довольно сильно. Нога попала на его соседа. Тот тоже ее стряхнул. Нога дала пинок. Тот, кто получил этот пинок, сам два-три раза пнул ногой в ответ. Разом прорвалась глухая злоба людей, вынужденных долгое время в полной неподвижности переносить мучительную жару. Двадцать с лишним ног вступили в ожесточенный бой. Раздались крики: «Айго, айго! Больно!» На помощь ногам пустили в ход руки. Все смешалось в кучу дерущихся тел. Максима получил такой удар локтем в голову, что у него потемнело в глазах. Он в бешенстве вскочил и стал яростно колотить направо и налево, у него тоже в голове помутилось. Потом вдруг он опомнился. Его дрожащие, напряженные руки упали. Почувствовав смертельную усталость, он

опустился на пол в углу. Наконец улеглись и корейцы, так и не разобравшись, из-за чего, собственно, происходила драка. Но Максима не мог больше уснуть. Перед глазами у него все еще стояло жуткое зрелище голых людей, со стонами мечущихся и дерущихся, как мертвецы в пламени ада.

7

На второй день заключения к Максима на свидание пришла мать.

— 3502-й! На свидание, — сказал смотритель, открыв дверь и смотря ему в лицо. Максима еще не знал, кто пришел к нему на свидание. Когда он выходил из тюрьмы, ему дали плетеную шляпу с широкими низкими полями. Надев ее, он подумал, что, вероятно, похож в ней на нищенствующего монаха, который скитается из города в город, играя на сякухати¹. Он надел тяжелые гэта из каштанового дерева, с синими завязками и, постукивая ими по бетонному полу, прошел в сопровождении смотрителя через коридор во двор. Рядом со зданием тюремной конторы находился небольшой павильон. Туда его отвели. На расстоянии метра один от другого были укреплены поперечные деревянные брусья. Максима облокотился на один из них, к другому подошла его мать. Он ахнул. Больно сжалось сердце. Но он сдержался и посмотрел на нее с улыбкой. Мать тоже через силу старалась улыбаться.

— Передачу всю получил?

Горло у него сдавило, он молча кивнул.

— Если тебе что-нибудь нужно, скажи...

— Нет... — с трудом проговорил он.

— Ничего?

— Да...

— Жарко, наверно?.. — начала было мать, но голос ее оборвался, и слезы покатались из глаз. Максима с тоской посмотрел на нее.

— Не надо волноваться, я ведь здоров... — только и мог он сказать.

— Вот насчет адвоката... Мы с отчимом ходили к Мори-сан, просили его... Только следствие долго протянется... А теперь такая жара... Ты похудел, — сказала мать. Ее душили слезы.

— Не волнуйтесь так...

¹ Род свирели.

Макисима уже один раз сказал это, но других слов у него не было.

— Ну, хватит.

Тюремный начальник, присутствовавший при свидании, приказал смотрителю, который привел Макисима, отвести его обратно. Вложив всю душу свою в последний взгляд, Макисима поклонился матери и пошел за смотрителем.

Когда он вернулся в камеру, арестанты ужинали, но Макисима от тоски совершенно не хотел есть. Орита, посмотрев на него, сказал:

— Кто приходил?

— Мать приходила. Я здесь всего два дня, а она говорит, что я похудел. Разве я так похудел?

— Да здесь за один день похудеешь. Еще бы, при такой жаре, — сказал Орита, вытирая пот.

Побывать хоть немного вне тюрьмы было общей мечтой. Заключенные старались под всякими предлогами выйти из камеры. Ежедневная прогулка бегом по тесному тюремному двору, баня — баня полагалась летом раз в четыре дня — это были самые большие удовольствия. У бассейна выстраивались в ряд семь-восемь человек и по команде смотрителя бултыхались в прохладную воду. Это была единственная минута, когда они забывали, что они в тюрьме. Но после ванны, особенно ночью, становилось еще тяжелей.

Из всех этих развлечений, самым приятным было ходить писать письма, потому что это продолжалось дольше всего. Перед комнатой, где спали дежурные смотрители, на бетонном полу была постлана циновка, и на ней стоял грубо сколоченный длинный низкий стол. Это было то самое место, где Макисима снял с себя европейский костюм. Здесь подследственные, стоя рядом у стола, писали письма и открытки. Макисима написал свое первое письмо на третий день заключения. Ему дали линованный листок со штампом «почтовая бумага» и кисть со стертым кончиком. Макисима сплошь исписал бумагу мелкими знаками. Он нарочно старался писать медленней, чтобы подольше не возвращаться в страшную камеру. Он жадно смотрел то на открытую площадку, справа, в конце коридора, где работали осужденные, прикрыв голову плетеными шляпами, то на зеленую летнюю траву, которая росла внизу у высокой кирпичной стены. С тех пор как он попал в тюрьму, он еще ни разу не видел ни зеленых деревьев, ни травы.

Однажды, когда Макисима писал письмо, в дежурной раздался звук удара. Звук повторился три-четыре раза. Макисима с недоумением заглянул в комнату. Били сидевшего на корточках заключенного. От удара он свалился на спину. Это был «№ 28».

— А! Айго! а-а... — стонал «№ 28».

— Негодяй! — крикнул по-японски молодой кореец-смотритель и еще раз сильно пнул его ногой в бок. В руке у него была плеть.

— Айго, айго! — стонал кореец.

— Надоел, дурак.

Смотритель хлестнул его по лицу. Макисима весь вспыхнул. Сердце его бешено заколотилось. Он чуть не бросился туда, но вдруг вспомнил, что он сам арестант, и заколебался.

— Чего ты тут развалился? Вставай, мерзавец! — опять на беглом японском языке крикнул кореец-смотритель и, пнув его ногой, одновременно взмахнул плеткой. «Опять ударит», — с этой мыслью Макисима, не помня себя, кинулся вперед.

— Как ты смеешь! Это беззаконие! — крикнул он, изменившись в лице, в упор глядя на смотрителя. Губы у него тряслись. — Если этот кореец в чем-нибудь виноват, надо разобраться по закону! — негодуя отчитывал он смотрителя, стараясь не выдавать своей неуверенности и в то же время прикрывая «№ 28» своим телом.

— Ты кто такой? Арестант, а туда же! — крикнул смотритель, смерив его взглядом.

— Ну, и что ж, что арестант. Если я неправ, пусть меня накажут.

— Что такое, что такое?

В дежурную вошел черноусый начальник. Пришел и смотритель отделения для подследственных.

— Что тебе нужно? Зачем ты явился? — спокойным тоном спросил начальник. Макисима смотрел на корейца-смотрителя и молчал. Тот незаметно выпустил из рук плетку.

— Ты пришел писать письмо? Так ступай и поскорей пиши.

Макисима молча вышел. Кореец-смотритель поглядел на него злыми глазами. Макисима ответил ему гневным взглядом. Когда он написал письмо и вернулся в камеру, смотритель-японец равнодушно спросил его:

— Что там случилось?

— Били заключенного, — ответил Макисима.

— Для вас лучше, если вы будете держаться не так, как раньше, на сво-

боде. Тюрьма — дело другое, — сказал смотритель.

Вскоре в камеру вошел «№ 28»; увидев Макисима, он несколько раз ему поклонился и с смягчившимся выражением всегда мрачного лица сказал по-корейски:

— Спасибо, господин.

8

Солнце медленно погружалось во мглу. Далеко на холмах зазвонил вечерний колокол. Макисима, как всегда, в рассеянной задумчивости смотрел в окно. Уже сорок дней он жил, видя перед собой в окне только клочок неба и кусок крыши. Суд был закрыт на летние каникулы, и Макисима ни разу еще не вызвали на допрос. Сколько будет продолжаться его заключение, предвидеть было невозможно. У приговоренных есть точно установленный срок освобождения, они знают, что должны тянуть свою ляжку до такого-то числа. Не то у подсудимых. Когда кончится их заключение, нельзя предугадать. Они живут в состоянии тревожной неопределенности, с шаткой, совершенно ненадежной перспективой — «в зависимости от положения дел в суде»... Бывали даже случаи, что содержание под следствием превышало сроки наказания, установленные законом.

Макисима несколько раз подавал просьбу об освобождении на поруки, но всегда получал отказ. «Нижеозначенному обвиняемому в освобождении на поруки отказано», — было крупно отпечатано на бланке. Когда Макисима получал его, он проклинал все на свете.

Вдруг где-то далеко прогремел гром. Макисима радостно прислушивался, он представлял себе серебряные стрелы дождя. «Видно, где-то набежали тучи!» — подумал он. Снова прогремел гром. Паук, висевший под карнизом, торопливо побежал по длинной паутинке под крышу. Тучи все сгущались. Понемногу они застлали все небо. В окошко заструился живительный ветер. Остро сверкнула молния. Раздался удар грома.

— Дождь! Дождь! — радостно закричали корейцы, теснясь к окошку. Светлые струи дождя уже бежали наискось, мимо окна.

— Дождь пошел!

Эта была первая гроза с тех пор, как Макисима попал в тюрьму. Так долго

стояла сухая погода. Они почти забыли, что такое дождь. Держась за железную решетку окна, налезая друг на друга, корейцы смотрели на сверкающие струи. Иногда порыв ветра загонял в камеру прохладные капли. «Ай-го!» — весело приветствовали их корейцы. Макисима никогда еще не слышал от них таких радостных восклицаний. И Орита, и Макисима, и корейцы — все от радости приплясывали, как крестьяне на празднике урожая. Дождь лил все сильнее, ветер дул крепче. Казалось, будто с неба низринул водопад.

— Закрывать окно!

По коридору с обходом шел смотритель. С глубоким сожалением окно притворили. Казалось, что дождь утих, но в эту минуту еще громче прогремел гром. Несколько корейцев испуганно вскрикнули и в страхе прижались к полу. Гроза забушевала еще яростней. В это время принесли ужин. Все ели с аппетитом.

— Сегодня приятный вечер, — бодро сказал Орита.

«№ 28» в этот вечер тоже казался веселее. Когда Макисима увидел его лицо, в нем вспыхнула острая радость. Он радовался тому, что он разбил непроницаемую скорлупу, облекавшую сердце «№ 28», и что в ту минуту, как в комнате для писания писем он заступился за корейца, он нашел путь к его душе... Макисима сам недоумевал, отчего он чувствует такую привязанность к этому преступнику, но он не мог не видеть, что все больше поддается этому чувству. «Как облегчил бы я свою тоску, если бы мог крепко пожать его закованную в кандалы руку и выразить ему свое горячее участие», — думал Макисима. После инцидента в комнате для писания писем, «№ 28» часто разговаривал с Макисима. Вот и сейчас, усевшись с ним рядом и обнажив загорелую меднокрасную грудь, покрытую черными волосами, «№ 28» наслаждался дувшим в щели окна прохладным ветром.

— Приятный вечер, — говорил он время от времени и с улыбкой поглядывал на Макисима.

За ужином «№ 28» впервые взял еду из передачи Макисима.

— Очень вкусно, господин.

«№ 28» с удовольствием щелкнул языком. Он ел мясо в первый раз с тех пор, как попал в тюрьму. Макисима с улыбкой кивнул.

Ночью при сильно завывающем ветре дождь полил еще сильнее. Пол в камере стал прохладным. Корейцы блаженно ложились ничком на циновку попрежнему голые, как будто так долго нагревавшиеся тела все еще недостаточно остыли. В эту ночь «№ 28» почему-то лег рядом с Максисима. Впервые за долгое время все заснуло спокойным, легким сном.

Ярость долгого лета понемногу стала утихать. Рано утром в окно дул прохладный ветер. Наступала осень. Но следствие по делу Максисима все не заканчивалось. Он возмущался тем, что такое простое дело затягивается на четыре, пять месяцев.

Тем временем Орита ввиду отсрочки приведения в исполнение приговора был освобожден. «Да и вас, наверно, выпустят на поруки... А пока берегите здоровье», — сказал он радостно на прощанье. Никогда в жизни Максисима не чувствовал так остро горечи разлуки. Всю ночь он боролся со слезами, как будто лишился возлюбленной. «Неужели так сильна в человеке потребность общения!» — думал он с тоской. Когда в день вызова в суд, после того как его с утра до вечера таскали связанным, он, наконец, вернулся в камеру, ему показалось, что он попал к себе домой. В особенности казалось так благодаря участливым расспросам соседей по камере.

С тех пор как ушел Орита, Максисима еще больше пристрастился к чтению. Он усаживался под окном и читал присланную ему в передаче редактором Ханэда антологию классической поэзии.

Когда Максисима надоедало читать, он разговаривал с «№ 28». Однако «№ 28» никогда не упоминал о своем преступлении. Сколько Максисима его ни спрашивал, он отделялся односложным ответом:

— Не знаю, — и тут же замолкал.

Все заключенные спокойно рассказывали о своих преступлениях. Они жили в мире, где к человеческой преступности относятся без всякого удивления. Один только «№ 28» никогда ничего не говорил. «А может быть, он обвинен ложно?» Эта мысль вызывала в нем ужас, ему становилось стыдно за свою нацию. Но он знал, что из

глубокой пропасти, на дне которой ждет смерть, «№ 28» уже спасти нельзя. Он думал: «Буду его любить — это все, что я могу сделать для человека, над которым нависла густая тень смерти...»

10

Осень подходила к концу, «№ 28» теперь целыми днями молчал. Целыми днями, не произнося ни слова, он тупо смотрел в окно, куда падали лучи бледного солнца. Его зрачки не шевелились. Губы судорожно подергивались. По делу Максисима все еще не было приговора. Следствие тянулось бесконечно. Когда Максисима смотрел на неподвижную фигуру «№ 28», его сердце замирало от странной иллюзии: ему казалось, будто ему самому объявили смертный приговор. Бездонная тоска леденила ему сердце. Поздно вечером смотритель обходил камеры, сообщая, какие номера будут вызваны в суд на другой день. Максисима видел, как «№ 28», который ждал только решения кассационного суда, при звуке голоса смотрителя каждый раз широко раскрывал глаза и, глядя в потолок, напряженно прислушивался, не назовут ли и его номер. «№ 28» теперь всегда спал рядом с ним. В жару Максисима обмахивал его, снимал у него клопов со спины и с бедер, — всегда закованный в кандалы, «№ 28» не мог делать это сам. Когда в числе названных номеров его номера не оказывалось, «№ 28» испускал глубокий вздох облегчения и обычно спокойно засыпал.

Но однажды вечером смотритель крикнул:

— Номер 28! Номер 28! Где номер 28?

Максисима вздрогнул, как будто дело шло о нем самом. «Вот оно!» — подумал он. Тот, кого вызывали, должен был просунуть в отверстие посередине стены, выходящей в коридор, имевшуюся в каждой камере небольшую, сантиметров в шестьдесят, планку, носившую название «сигнализатор». Но «№ 28» не шевелился, как мертвый. — Номер 28, где ты? Живо, спускай сигнализатор! — крикнул смотритель еще раз. Максисима было слишком тяжело, он молчал. — Номера 28 нет? Номер 28! — В третьем возгласе слышалось раздражение. Тогда «№ 28» медленно поднялся. Максисима

не в силах был на него смотреть. Со стуком упал сигнализатор. Обычно, падая, он издавал громкий, звенящий звук. Но, когда его опустил «№ 28», он стукнул глухо, как будто рухнуло чье-то мертвое тело. Для Максима этот стук прозвучал страшным предвестием смерти.

— Номер 28! Что же ты сразу не высунул сигнализатор? — сказал смотритель. — Завтра в суд.

Слово «суд» больно резануло Максима по сердцу. «№ 28» молча приложил большой палец к странице конторской книги, просунутой в отверстие в двери у самого его изголовья. Смотритель посмотрел книгу при свете электрической лампочки в коридоре и, щелкнув языком, опять заглянул в камеру.

— Не здесь надо было прикладывать. Там, где твой номер и имя. Тебя зовут Ким Гуго? Ставь печать здесь, да не ошибись.

С этими словами он со скучающим видом снова просунул книгу в камеру, «№ 28» все так же молча еще раз приложил палец.

Максима первый раз услышал, как его зовут, в тюрьме никогда не зовут по имени.

Когда смотритель ушел, «№ 28» вздохнул так, как будто ему сдавили легкие. Максима молчал.

Смертный приговор «№ 28» был утвержден. Уже стемнело, когда он вернулся обратно в камеру. Все это время Максима думал о том, что должен чувствовать человек, когда ему объявляют окончательный смертный приговор. Однако «№ 28» обманул его ожидания. Он выглядел почти совершенно так же, как утром, перед уходом из камеры. Он только казался немного утомленным, был бледен. Но в этом не было ничего удивительного, так выглядело большинство обвиняемых после вынесения приговора. Поэтому Максима даже пришло в голову, не отменен ли предыдущий приговор. Все его стали расспрашивать. Но он только качал головой и ничего не говорил! Тогда у всех появилась одна мысль: «Значит, не вышло».

Было уже поздно. Максима, лежавший рядом с «№ 28», не сказав ему ничего, уснул. Среди ночи он вдруг с тяжким вздохом проснулся. Его мучил какой-то страшный сон. Поворачиваясь спиной к стене, он за-

метил, что «№ 28» нет рядом с ним. Максима обвел взглядом камеру, под окном стояла серая человеческая фигура. Бледные в темноте руки крепко вцепились в железную решетку. Эти узловатые руки были до странности напряжены. Как будто через них его страстное стремление передавалось самой решетке.

Максима вскочил и так же протянул руки, чтобы рядом с этими бледными руками вцепиться в решетку. О, радость братского порыва двух душ, страстно томящихся по свободе!

За окном стояла голубая лунная ночь.

Через несколько дней Максима был выпущен на поруки и расстался с «№ 28». На глазах «№ 28», проводившего его до дверей камеры, он первый раз увидел слезы. «Драгоценные слезы! Теперь я знаю, что не напрасно перенес тяжелое пятимесячное заключение. Эти слезы — моя награда».

ГЛАВА V

1

В конце года Максима снова был заключен в тюрьму как осужденный. На суде в качестве свидетелей выступили рабочие с копей С., Кавагути и Йосида. Когда председатель суда задавал им вопросы об условиях и обстановке работы в копиях, то оба только кланялись, говоря:

— Мы люди темные, неграмотные, ничего не знаем.

Председатель суда махнул на них рукой. Прокурор в обвинительной речи сказал: «Подсудимый употребил во зло печатный орган, он стремился повредить развитию промышленности нашей страны». Молодой юрист, адвокат Ока, привел в ужас пожилого, умудренного опытом председателя суда, пылко воскликнув: «Предметом нашего рассмотрения является тот факт, что подсудимый, как социалист, выступил против современного капитализма...» Второй адвокат, Мори, даже ахнул. «Из-за ваших слов подсудимый будет лишен права на отсрочку приведения приговора в исполнение», — сказал он, скривив свое морщинистое лицо. Ока только усмехнулся. Но Максима был горд. Из-за каких-нибудь четырех месяцев каторги не стоило пользоваться отсрочкой.

Тем временем газета — удивительное дело! — за 50 000 иен была куплена владельцами копей С. Редактор Ханэда получил, таким образом, средства на ведение выборной кампании. По дополнительному соглашению, иск, предъявленный газете, был взят обратно. Но с «социалистом» и «негодяем» Макисима государство на соглашение не шло. Под предлогом того, что в данном случае имело место не нанесение ущерба репутации, а подрыв кредита, который не может быть рассматриваем только как частное оскорбление, Макисима был приговорен к каторге.

Когда его заключили в тюрьму, у него не было ни полушки. Матери его в Хэйдзэ уже не было, — отчим закрыл лавку и уехал из города. Деньги, которые она перед отъездом оставила как залог для освобождения Макисима на поруки, прикарманил адвокат Мори.

Когда Макисима в сопровождении жандарма с тяжелым сердцем входил в ворота тюрьмы, был зимний вечер. Из ондолей соседних корейских домов подымался густой дым, и в нос ударял сильный запах жженой сосновой смолы. Его очки в золотой оправе и пальто — все было заложено у ростовщика; он выглядел жалким бродягой, да так оно и было на самом деле.

Опять Макисима шагал по знакомому полутемному коридору. Когда дошли до раздевалки перед дежурной, очевидно, как раз кончился ужин, уборщики стучали алюминиевыми мисками. Пахло супом. Макисима стало почти приятно. Перед ним одно за другим пронесли лица «№ 28» и других его соседей по камере. «Что-то с ними теперь?» — подумал он.

В раздевалке он снял с себя все, что на нем было, — две фуфайки, ватное кимоно и хаори. Когда он разделся, ему показалось, будто его окунули в ледяную воду. У него зуб на зуб не попадал. Ему дали длинную нижнюю рубаху и верхнее кимоно на тонком слое ваты. Макисима торопливо надел эту кричаще-красную арестантскую одежду. Он вздохнул с облегчением. Но все-таки ему было попрежнему холодно. Рубашка не прилегала к телу, и он весь дрожал. Перед ним уже стоял смотритель, готовый вести его в отделение для осужденных.

— Очень холодно? Зимой не сразу привыкаешь, — засмеялся смотритель. Но Макисима было не до смеха.

Он последовал за смотрителем. В

камере, вернувшись с работы, дрожа от холода, скорчившись, лежали на полу человек десять арестантов. Раздался памятный ему звук защелкнутого замка. Арестанты подняли голову и посмотрели на новичка.

Макисима несколько боязливо поклонился. К его удивлению, арестанты приветливо ответили на его поклон. У Макисима отлегло от сердца.

Людское дыхание немного нагревало воздух в камере, но все-таки и здесь люди стыли до мозга костей. Так как камера была больше прежней на две дыновки, а заключенных было меньше на два-три человека, в ней было не настолько тесно, чтобы стучаться коленями. Впрочем, зимой в тесноте было бы теплее. Все сидели по-турецки, прикрывая ноги полами кимоно. Макисима, съезжившись, сел рядом с ними.

— По какому делу? — почти шепнул в ухо ближайший к нему арестант.

— На сколько засадили? — спросил другой.

Но Макисима так продрог, что у него губы не шевелились. Чем больше он съезживался, тем острее холод пронизывал его кожу и кости. У арестанта рядом с ним ухо вспухло, и мочка его была отморожена. Макисима не сводил взгляда с этого уха. Он оцепенел, как мышь, промокшая в канаве. Даже дышать было холодно. Думать нехватало сил. Он уподобился животному низшей породы, способному ощущать только холод.

Время от времени, стараясь хоть немного согреться, арестанты шевелились. Некоторые трясли коленями, другие бились спиной о стену, третьи терли себе руки от плеча до кончиков пальцев и подошвы ног. Сидевшие посредине прислонялись спиной друг к другу и в такт стучались спинами. Но у Макисима нехватало духу даже пошевелиться, он только дрожал.

Внезапно за дверью раздался звук ударов и одновременно брань смотрителя. «Айго, айго!» — жалобно крикнул кто-то, повидимому заключенный кореец. Смотритель, ругавшийся по-корейски, как будто тоже был кореец. Макисима удивился шуму. В отделении для подследственных ему не приходилось еще слышать такие звуки!

— Опять этот негодяй смотритель. Вечно дерется! — сказал арестант, сидевший у двери и все время покачивавшийся, глядя на дверь.

Макисима слушал молча. Опять раздался шум. «А-а-а, айго!..» — простонал тот же голос. В первую минуту эти звуки внушили Макисима чувство жалости. Но затем его сердце больше не откликалось на мучения, которым кореец-тюремщик подвергал корейца-заключенного. Для него было одинаково невозможно шевелиться, говорить или думать. Он сидел скрючившись, с бессмысленным, как у слабоумного, лицом, рассеянно слушая хлещущие удары...

Макисима, которому снилось, что он стонет, упав в снег, вдруг проснулся от холода. Уже светало. Он спал одетым, рядом с соседями по камере, на тонком тюфячке, постеленном на полу. Перед рассветом стало еще холоднее, — на рассвете бывала самая низкая температура. Ледяной шершавый край одеяла коснулся его щек, и он задрожал. Пар от дыхания десяти людей оседал инеем на одеяло, и казалось, что на одеяло наброшен белый чехол.

— До пробудки еще далеко. Хоть и встанешь, все равно холодно, — сказал кто-то. Но все уже встали. Подняв воротники, дрожа всем телом, они шагали, громко топя ногами. Макисима тоже, засунув руки за пазуху, стал ходить по тесной камере. За высоким окошком еще было полутемно. Он ходил, поднимая глаза к окну. В голове у него было пусто. Он не в состоянии был думать. Жизнь существовала для него только как трагический факт реальной, животной, физической муки.

Заключенные шагали по холодному полу, трясая головой, топя ногами, потирая руки. Макисима шагал тоже, вместе со всеми. Ему казалось, что он немного согревается.

Наконец, прозвонил колокол на пробудку. Дверь камеры отворилась. Макисима выбежал. Вдохнув морозный воздух, он вздрогнул, как будто по телу его пробежал электрический ток. Он не мог разлепить веки, потому что ресницы смерзлись. Ноздри тоже замерзли. Макисима испуганно остановился. Он хотел было отступить обратно в камеру, но, заметив, что сзади уже выходит другой, не помня себя, побежал вперед. По бетонному полу коридора, устланному длинной грубой цыновкой, они пробежали около тридцати-сорока кэн, до места, где по обе стороны стояли в ряд полки, как в раздевалках в городских банях. Ар-

станты, длинной цепью бежавшие впереди него, толпясь перед полками, стали раздеваться. В эту минуту подошел Макисима. Он остолбенел от неожиданности. «В такой холод раздеваться догола?» — подумал он, но в это мгновение стоявший рядом смотритель крикнул: — Живо, раздеться! — Макисима с сожалением скинул еще теплое с ночи кимоно и бросил его в пустой ящик. Смотритель сердито выхватил кимоно. — Так бросать нельзя! Надо номером кверху! — Смотритель сам свернул кимоно и сунул ему поднос. Когда Макисима положил его в ящик, его номер — 3358 — оказался наверху. Совершенно голые, они побежали дальше. Макисима смотрел на вереницу бегущих впереди голых людей, не понимая, во сне это или наяву. В это время он уже не ощущал холода. Он потерял способность чувствовать.

Бежать голыми по коридору пришлось долго. Они миновали несколько коридоров, соединявших отдельные здания, и, наконец, остановились в просторном помещении. Макисима, голый, не знал, как стать. Остальные, дрожа, надевали рабочие костюмы.

— Новичок, ищи костюм со своим номером! — приказал смотритель, сидевший за высоким столом. Дрожа, как в лихорадке, Макисима стал искать свой костюм. Тушь, которой были написаны номера, вся выцвела, тройка казалась двойкой, он путал номера, и несколько раз ему попадало от заключенных. Наконец, он нашел свой номер. Как он обрадовался, когда взял в руки эту красную арестантскую одежду! Он надел ее торопливо, почти с благодарностью. Костюм состоял из тонкой ватной куртки и таких же штанов. Надев его, он облегченно вздохнул.

На полу лежали небольшие круглые цыновки, на которых расселись арестанты в два ряда, лицом друг к другу. Перед каждым поставили алюминиевую миску с желтоватой пшенной кашей и деревянную чашку с супом, похожим на грязную воду. Плохо нарезанные овощи свешивались за края чашки и волочились по полу. Макисима вдруг поднял глаза и посмотрел на сидевших лицом к нему арестантов. Поставив чашки прямо перед собой, лякая от холода зубами, они ждали приказа приступить к завтраку. Макисима оглянулся на себя, на свою дрожащую фигуру в красной куртке и

красных штанах, посмотрел на поставленный перед ним завтрак.

— Завтрак! — приказал смотритель.

Все наклонили головы и взяли в руки хаши. Максима поднял чашку с супом. Когда он поднес ее к губам, в чашку капнула слеза.

2

«№ 3358», в красной арестантской одежде с пришитой к воротнику белой номерной табличкой, сидел, скрестив ноги, на круглой цыновке в мастерской и плел сеть. Сети делались по заказу одной рыболовной фирмы. В большой мастерской на этой работе было занято около семидесяти арестантов, среди них — всего два-три японца. Им негде было ни защититься, ни укрыться от бешено дующего ветра. Они должны были сидеть на установленном месте и исполнять положенную работу. Они не имели права даже на минуту дать отдых непрерывно шевелившимся рукам. Суровый ветер резал лицо, леденил последние капли крови в сердце. Не смея даже обменяться словом, они, понурившись, работали. Время от времени они старались согреть немеющие руки, потирая их друг о друга. Но у большинства руки были отмороженные и такие распухшие, что они даже не могли их потерять. К тому же у некоторых свободно торчали только кончики большого и указательного пальцев, вся же остальная рука была плотно перевязана бинтом; оттого, что его много дней не меняли, бинт был пропитан гноем и кровью и сделался черным от грязи.

И все же этими онемевшими руками они плели сети. В страхе перед окриком смотрителя они работали, не останавливаясь ни на минуту. Под вечер смотритель проверял выполненную работу.

Максима сплел всего четыре суна¹. Смотритель, строго глядя на него, сказал:

— Этого и на первый раз слишком мало. С завтрашнего дня надо делать больше, 3358!

Максима съежился и промолчал.

— За четыре суна и тюремной еды много. Я всегда делаю вдвое больше заданного.

Это говорил японец, который, сидя в углу мастерской, с утра накладывал заплатки и зашивал дыры на рваной

обуви; перед ним стояло железное хибати¹ с докрасна раскаленным углем. С какой завистью устремлялись на это хибати глаза семидесяти человек.

— Дай мне такое хибати, так я тоже сделаю вдвое, втрое больше заданного, — сказал, как бы защищая Максима, другой японец, который рядом с ним плел сети.

— Так вам тоже хотелось бы десять лет сидеть в тюрьме?

Этот японец был приговорен к десяти годам каторги за убийство. Максима подумал, что он не даром верховодил над другими. Во время завтрака он разливал арестантам из ведра суп, а остаток ставил рядом с собой и с начальственным видом раздавал находившимся поблизости арестантам, игравшим роль его подручных. Это был худощавый, добродушный человек. Когда за работой он подымал локоть, видна была черная татуировка.

Колокол возвестил конец работы. Все подняли головы и вздохнули, как будто, наконец, почувствовали себя людьми. Сейчас же стали торопливо подниматься. Всех радовала одна мысль: «Вот срок сократился еще на один день».

Просторная мастерская была разделена на две части, но ели все арестанты вместе. «Десятилетник» разливал суп арестантам своего ряда. Дойдя до Максима, он налил ему полную чашку и сверх того подлил супу в алюминиевую миску, где лежала пшенная каша. Каша грузно всплыла в почти черном супе.

— Первое время голодно, — пробормотал «десятилетник» и пошел дальше.

Поев, все торопливо разделались до гола и сложили рабочие костюмы, как они лежали утром. Опять растянулась длинная вереница голых людей. Максима, встав в ряд, побежал вместе со всеми.

Через десять дней измученного Максима, который ни разу не сплел больше четырех сун (несмотря на все окрики смотрителя, он только и делал, что грел руки, засовывая их под колени), перевели в другую мастерскую, где подростки клеили папиросные коробки. Здесь было несравненно лучше, так как в помещении поддерживалась определенная температура, чтобы не замерзал клей. Максима чувствовал себя спасенным.

¹ 3 см.

¹ Жаровня, вид комнатного отопления.

Прошел Новый год и наступил январь. Максима отбыл уже больше половины срока заключения. Он не раз слышал, что в Корее один месяц тюрьмы зимой или в середине лета стоит шести месяцев весной или осенью. Таким образом на долю ему выпало все самое тяжелое. Он не подозревал, что зимой в тюрьме так мучительно трудно. Когда он был в отделении подследственных, ему хотелось как можно скорей перейти к осужденным, — и вот он попал к ним зимой.

Стояла середина февраля. Позавтракав в мастерской, Максима вместе с подростками клеил коробки для папирос «Асахи». Прямоугольный кусок плотной бумаги с маркой «Асахи» обертывался вокруг деревянного брусочка, с четырех сторон бумага сгибалась, и коробка была готова. Максима повторял все одни и те же движения, когда стоявший рядом с ним подросток-японец, повернувшись к окну, тихонько воскликнул: «Казнь, казнь!»

Воспользовавшись тем, что дежурный смотритель, нагнувшись, проверял вчерашнее расписание заданий, еще два-три подростка вытянули голову к окну. Максима тоже встал и посмотрел во двор.

Заклученный, в синей арестантской одежде и широкой плетеной шляпе, со связанными за спиной руками, шел, подталкиваемый справа, слева и сзади тремя смотрителями. Тело его было сильно откинута назад, как будто он не хотел идти, но, бессильный против соединенных усилий трех человек, он подвигался вперед, почти скользя, отдельными толчками. Когда заключенный сделал таким способом шагов пять-шесть, ноги у него вдруг подогнулись, как будто он собирался опуститься прямо на землю. Но смотрители с обеих сторон рванули его кверху и повели дальше.

Небо было ясное, дул резкий ветер. На солнце сверкали сабли смотрителей. Новая синяя арестантская одежда заключенного казалась особенно яркой.

Ужас сжал сердце Максима. В мозгу, как молния, блеснула мысль: «№ 28!» Ему показалось, как будто кто-то вонзил иглу ему в сердце. Как будто это ему самому грозит страшная опасность.

Четыре фигуры скрылись за углом здания. За ними по тюремному двору

один за другим прошли: тюремный смотритель с длинной саблей; прокурор в официальном японском костюме; судебный следователь; тюремный врач в пиджаке; тюремный проповедник в буддийском облачении; секретарь суда с папкой бумаг; старший смотритель и другие. И в это утро, как всегда в эти часы, с холмов доносился звон колокола утренней службы в христианской церкви.

— Марш от окна! Нечего там разглядывать! — отогнал их смотритель. Максима, как и остальные, сел на свое место, но долго не мог работать и, сжимая в руке брусок, неподвижно смотрел в пространство.

4

В последней декаде марта заключенного «№ 3358», Максима Кюкити, который, считая со дня ареста, почти год провел в заключении, выбросили, как щенка, за серые ворота тюрьмы.

Он осмотрелся кругом. За исключением двух-трех человек, вместе с ним выпущенных из тюрьмы и теперь робко шагавших по дороге, поблизости никого не было видно. Стуча саблей, направлялся к тюрьме, вероятно на службу, знакомый ему старший смотритель в форме. Он бросил на Максима строгий взгляд, как будто тот все еще был заключенным, работающим в тюремной мастерской. Однако вид его уже не вызвал у Максима такой злобы, как раньше, когда он во время обхода заходил в мастерскую и стоял, высокомерно поглядывая на арестантов. Максима пошел дальше. У него появилось неприятное ощущение, как будто ноги его плывут по воздуху и никак не могут твердо ступить на землю. Каждый раз, делая шаг, он пошатывался и с трудом сохранял равновесие.

Хотя стоял март, за городом дул холодный ветер. И все-таки приближение весны, хоть и слабо, давало уже себя чувствовать. На красной глинистой земле, похожие на чайники, пробивались первые ростки травы. С какой жадностью смотрел на нее Максима, столько дней видевший перед собой только закопченные доски пола мастерской.

Полный радости, как человек, впервые вышедший на улицу после долгой болезни, он брел по дороге, ведущей в город. У него не было ни дома, ни друзей, ни денег. Если бы он пошел к

кому-нибудь из знакомых, вряд ли бы его встретили радостной улыбкой.

Как только Максима вышел из тюрьмы, он первым делом купил в лавочке папирос, получив сдачу с пяти иен, которые ему перед своим отъездом передала мать. На эти деньги он мог спокойно переночевать в гостинице. Но его беспокоило, что будет дальше. «Надо что-то предпринять», — думал он. Кроме того, ему хотелось на эти четыре с лишним иены пообедать по своему вкусу — это была первая мысль, которая пришла ему в голову, когда он глубоко затянулся приятно пахнущей папиросой. Дойдя до окраины города, он без колебаний вошел в первый же ресторанчик и заказал себе три порции ростбифа сразу.

— Вы... вы один? — недоумевая, спросила служанка. Максима жадно проглотил белоснежный рис, а потом доотвала наелся мяса. Время от времени он, ковыряя в зубах зубочисткой, поглядывал на вставленный в зажим преysкурант. Он подсчитал, что, когда выйдет из ресторана, денег у него останется немного больше иены. Потом, разом придя к определенному решению, он поднялся и подошел к телефону. Ему было очень неприятно, что рядом слышат его разговор. Он звонил к знакомой гейше. Она сейчас же подошла к телефону. Обменявшись с ней двумя-тремя словами, он повесил трубку, заплатил по счету и вышел.

Пройдя по переулку, он тихонько вошел в дом, которого он так давно не видел, поднялся в мезонин и вошел в комнату гейши. Сидя перед зеркалом, она расчесывала волосы. Повидимому, она только что встала.

— Как, это в самом деле вы! — воскликнула она, увидев Максима и, бросив перед зеркалом щетку, засуетилась. Максима снял шляпу и повесил ее на вешалку.

— Вам лучше с длинными волосами, зачем вы остриглись? — сказала женщина, внимательно рассматривая его лицо. Максима погладил себя по голове и криво усмехнулся.

— Знаете, когда с вами это случилось, я не могла поверить, позвонила по телефону в полицию, но ничего не узнала. Ах, как я волновалась, всю ночь заснуть не могла! А на другой день мне сказали, что вас прямо из

прокуратуры отвели в тюрьму... Я так испугалась...

Женщина болтала безумолку. Но Максима не хотелось слышать о таких вещах.

— Бросьте все это. Сегодня будем пить и петь, — сказал он.

5

Дзинь-дзинь-дзинь... бац-бац-бац... го-о, го-о, го-о...

Сначала раздались лязг и дребезжанье, точно трескалось толстое стекло, затем грохот, точно рушились стволы огромных деревьев. Потом опять как будто прогремывал гром. Максима проснулся от сильного гула. Подняв отяжелевшую голову, он посмотрел на сйодзи. Снова раздался ужасный грохот. Казалось, сами сйодзи дрожат и стонут от сотрясения. Он опять опустил голову на подушку. Рядом с ним пошевелилась женщина.

— Лед вскрылся на Дэдоган, — сказал он взволнованно.

— Похоже... — задумчиво проговорила женщина. — Ведь скоро апрель. Даже в Корее лед должен же когда-нибудь стаять... — Она рассеянно смотрела куда-то в пространство.

«Вот и весна, а что будет со мной?» — думал Максима. Он прислушался. Отдаленным громом доносился треск тронувшегося льда. Должно быть, водяные птицы, испугавшись, взлетели ввысь, их крики замирали в отдалении. Максима представил себе величественное зрелище вздувшейся, разливающейся, бурлящей реки, по которой в течение целого месяца будут плыть льдины, сверкая в лучах полуденного солнца. С глубокой задумчивостью во взгляде он напряженно прислушивался к грохотанью. Для него оно звучало как победный клич новой пробудившейся силы, как ее мощный призыв. Бац-бац-бац... го-о, го-о, го-о... Грохот не прекращался.

Максима напряженно слушал эти звуки. Радость теснила ему грудь. Он оделся и вышел на берег реки.

«Я прошел тройное крещение: завода, армии и тюрьмы, — сказал он себе, — теперь вперед! Я готов к участию в священной борьбе пробуждающегося трудового человечества... Вооружись новой решимостью и займи свое место в общих рядах!»